

Глотнуть воздуха

Мертвец уже, а все ему нейдет.

Народная песня

1

Мысль эта у меня забрезжила в тот день, когда я получил свой новенький зубной протез.

Отлично помнится денек. Четверть восьмого я привычно выскочил из постели и успел вовремя закрыться в ванной от детей. Скотское январское утро хмурилось грязно-бурым небом. Через оконце ванной можно было сверху обозревать маленький, пять на десять ярдов, обсаженный кустами бирючины травяной прямоугольник с плешью посередине – «садик», как это у нас называется. Такие же садочки, те же кусты бирючины, та же трава позади всех домов на Элзмир-роуд. Одно различие – где детей нет, там плешь не вытоптана.

Пока набиралась ванна, я исхитрялся брить щетину старым, затупившимся лезвием. Из зеркала глядело мое лицо, а ниже, на полочке, в стакане с водой лежали зубы для этого лица. Временная модель, которую дантист Уорнер дал мне носить до окончания работ над новой челюстью. Ну, лицом я не так уж плох: румяная, с кирпичным колером физиономия из тех, что в ансамбле с парой голубоватых глаз и блондинистой шевелюрой. Слава-те господи, ни седины еще, ни лысины, так что, когда зубы во рту, выгляжу вроде бы и помоложе своих сорока пяти.

Пометив в уме купить лезвий, я залез в ванну, начал мылиться. Намылил руки (они у меня такие, знаете, в веснушках до локтя), потом спинную щетку с ручкой взял тереть лопатки, их иначе-то никак. Вот горе горькое: прибавилось на теле мест, куда не дотянуться. Честно сказать, в полноту меня повело. Нет, я не то чтоб диво балаганное. Вес у меня всего фунтов под двести, а вокруг талии последний раз измерил – сорок восемь дюймов, ну, может, сорок девять, уж не помню. И не противный я, не «дико разжиревший», живот до колен не свисает. Просто я так это, широковат слегка, объемистый. Знаете плотных резвых толстяков, бойких симпатяг, которых награждают прозвищем Толстун или Бочонок, которые всегда и везде душа общества? Так вот вам я. Меня обычно называют Толстуном: Толстун Боулинг. А по-настоящему я Джордж, Джордж Боулинг.

Хотя тогда вот, в ванной, настроения не имелось общество веселить. Вообще подумалось, что вечно я теперь с утра не в духе, хотя сплю хорошо, желудок в норме. Ясно, конечно, почему – проклятые вставные зубы. Лежали на дне стакана и, увеличенные сквозь воду, скалились, как в черепе. Паршиво чувствуешь себя, сомкнув голые десны, – весь ты какой-то смятый, скукоженный, будто кислого яблока куснул. И потом, что ни говори, искусственная челюсть – рубеж. Как удалят тебе последний зуб, так больше себя не надуешь, не почувешь красавцем, шейхом голливудским. Оброс салом и сорок пять годков. Сбравшись ноги намылить, осмотрел я свои телеса. Это все ерунда, что толстякам ступней собственных не увидеть, однако же я, если прямо встану, то вижу только пальцы ног. Мылю

я свой живот и думаю: да никто из бабенок на тебя бесплатно лишний раз не глянет. И не особо, доложу вам, в тот момент я жаждал женских взглядов.

Но что кольнуло – этим утром, казалось бы, мне точно радоваться. Во-первых, на службу не идти. Старый автомобиль, в котором я «окучиваю» свой участок (тружусь по части страхового бизнеса, агент «Крылатой саламандры»: жизнь, пожар, кража, кораблекрушение, двойняшки – страхуем все), этот автомобиль мой временно на ремонте, и хоть я собирался зайти в лондонский офис скинуть очередные бумаженции, но на сегодня отпросился, чтобы покончить с новыми зубами у дантиста. Ну и еще штука, насчет которой я уже просто голову сломал. Вы понимаете, вдруг привалило мне семнадцать фунтов, о которых никто не в курсе, то есть дома у меня никто. Откуда, сейчас расскажу. Парень один из нашей фирмы, Мэллорс, раздобыл книжку «Астрология и скачки» с объяснением, как разгадать влияние планет по цветам на жокейской форме. А где-то там как раз должна была бежать Пиратская Невеста, лошадка неважнецкая, зато жокей в зеленом, в том именно цвете, который по звездам тогда самый счастливый. Мэллорс, прямо свихнувшись со своей астрологией, несколько фунтов на эту лошадь ставит и меня чуть не в слезах умоляет, чтобы я тоже. Так он приставал, что я в конце концов, против обычных моих правил, рискнул, поставил десять шиллингов. И ведь дотрюхала Пиратская Невеста первой к финишу. Забыл точный расклад по ставкам, но мне лично досталось семнадцать фунтов. Я как-то инстинктивно – сам от себя не ожидал: наверно, тоже житейский рубеж – денежки тут же в банк и ни гугу. Раньше такого со мной не бывало. Хороший муж и отец купил бы платье Хильде (Хильда – моя супруга), ботинки детям. Но я пятнадцать лет прожил хорошим мужем и отцом, уже по горло.

Намылившись от головы до пят и немного ожив, я сел в ванну поразмышлять насчет заначки – на что тратить. То ли, думаю, в уик-энд гульнуть с подружкой, то ли тихонечко транжирить на радости вроде сигар, двойных стаканчиков. Прикидывая насчет женщин и сигар, только я пустил воду погорячей, как по ступенькам перед ванной топот бизоньих стад. Детишки прибыли! Двое ребят в доме размером с наш – это как пинта пива в полпинтовой кружке. По двери барабанный грохот с воплем:

- Папулечка, пусти, мне надо!
- Обождешь! Нельзя сюда.
- Ну пап, ну срочно!
- Срочно брысь от двери. Дай принять ванну.
- Папу-у-ля! Мне на-а-до! Мне надо кой-куда!

Что тут поделаешь! Сигнал тревожный. Как полагается в таких домах, клозет у нас, конечно, вместе с ванной. Я вытащил сливную пробку, наскоро обтерся, и, едва открыл дверь, малыш Билли – мой младший, семи лет – пулей пронесся внутрь, на ходу ловко увернувшись от подзатыльника. Я уже полностью оделся, искал галстук, когда обнаружил, что мыло-то с шеи не смыл.

Жуткое дело – засохшее мыло на шее. Ходишь, будто клеем обмазанный, причем, если не смыть, до вечера будет казаться, что весь ты в этой пакости. Настроение испортилось, вниз я пошел, готовый никому не спускать.

Столовая у нас, как у всех остальных на Элзмир-роуд, комнатенка футов двенадцать на четырнадцать, а то и меньше, в основном загроможденная японским дубовым буфетом с парой пустых графинов и серебряной подставкой для яиц, подарком тещи нам на свадьбу. Женушка угрюмо возилась около заварочного чайника, как всегда полная тревог и страхов, потому что в «Новостях» объявили насчет повышения цен на масло или еще чего-то. Духовку она не зажгла, так что, хоть окна были наглухо закрыты, стоял зверский холод. Нагнувшись, громко засопев (мне теперь без сопения не нагнуться), я с довольно явным намеком чиркнул спичкой и зажег газ. Хильда искоса метнула взгляд, которым она выражает недоумение от моей нелепости.

Хильде тридцать девять, в начале нашего знакомства выглядела она – точь-в-точь заяц. Такая и сейчас, только совсем худющая, подсохла, в глазах вечный испуг, вечное беспокойство, а если вконец расстроена, плечи горбом и руки скрестит на груди, как старая цыганка у костра. Она из тех, кого жизнь пришибает предчувствием грозящих бед. Мелких бед, разумеется. До войн, землетрясений, эпидемий, голода и революций ей никакого дела нет. Причитания у нее – масло дорожает, газовый счет огромный, обувь детская сносилась, опять подходит срок за радио в рассрочку. Со временем я понял: ей это прямо сласть – скрестивши руки на груди, раскачиваться и нудить: «Джордж, это же очень серьезно! Ума не приложу, что делать! Где взять денег? Ты, видимо, не понимаешь, как это серьезно!» В голове ее крепко засело, что кончим мы в работном доме. Между прочим, если мы впрямь доедем, ей будет там раз в сто легче, чем мне, – наверно, даже испытает удовольствие от полной безопасности.

Дети уже были внизу, успев молниеносно вымыться и одеться, что им удастся всегда, когда нет случая томить кого-нибудь за дверью ванной. Пока я садился к столу, они тягуче препирались: «Да-да, ты!» – «Нет, не я!» – «Ты!» – «Нет, не я!» И могли все утро тянуть эту волюнку, если б я не велел немедленно захлопнуть рты. У нас лишь двое: семилетний Билли и Лорна, ей одиннадцать. Чувство мое к ним специфическое. Частенько я даже их вид едва терплю. А разговоры их вообще невыносимы. Они в той скучной поре младших школьников, когда все мысли крутятся вокруг линеек, пеналов и у кого лучше отметки по французскому. Но иногда, особенно когда они уснут, во мне совсем другое. Бывало, что я стоял возле их кроваток летними лунными ночами, смотрел на них, спящих, на их круглые рожицы, кудельки еще светлей моих и ощущал что-то такое, про что в Библии говорится «взволновалась... внутренность... от жалости к сыну своему»[1]. В подобные минуты я себя чувствую как сухой стручок с семенами, который сам пенса не стоит, нужен лишь затем, чтобы вот этих малявок на свет пустить, прокормить, вырастить. Ну, это изредка. Обычно-то свое отдельное существование видится мне довольно стоящим, я чувствую, что есть еще силенки и еще много светит впереди, и роль покорной загнанной скотины, дойной коровы для супружницы и ребятишек меня не манит.

Завтрак прошел в почти полном молчании. Хильду грызло ее всегдашнее «ума не приложу, что делать!», отчасти из-за новых цен на масло, отчасти потому, что кончались рождественские каникулы, а мы еще не уплатили пять фунтов за прошлый школьный семестр. Съев яйцо всмятку, я намазал хлеб «Царским золотым мармеладом». Хильда жметя с провизией, покупает дешевку вроде этой: пяток пенсов за фунт, на этикетке самым мелким шрифтом, что продукт утвержденный, «с добавлением нейтральных фруктовых соков». Тут меня стало разбирать, я довольно ехидно, как иногда умею, начал насчет того,

где ж их выращивают, эти самые «нейтральные фрукты», в каких таких удивительных странах, что за плоды чудесные и прочее, пока Хильда не разозлилась. Не остроумие мое сочла тупым, просто ей всегда кажутся грехом насмешки над экономией.

Я просмотрел газету – ничего новенького. От Испании до Китая люди крошат друг друга, на вокзале нашли отрезанные женские ноги, свадьба короля Зога[2] может не состояться. Наконец, часов в десять, раньше, чем собирался, я вышел из дому. Дети убежали играть в городской сад. На крыльце мерзко дохнуло сыростью, порыв ветра хлестнул по голой шее в засохшем мыле, мигом дав ощутить, что одет я не по погоде и весь покрыт гнуснейшей липкой коркой.

2

Бывали вы на моей Элзмир-роуд в Западном Блэчли? Да хоть и не бывали, наверняка видели десятки точно таких же.

Все эти наводящие тоску улицы ближних и дальних пригородов. Везде как под копиру. Длиннющие ряды однообразных сдвоенных домишек[3] (по Элзмир-роуд их числится 212, наш – номер 191), уныло, словно по шаблону казенных строений, и вообще безобразно. Оштукатуренный фасад, пропитанная антисептиком калитка, изгородь из бирючины, зеленая входная дверь. Названия жилищ на табличках либо «Кущи боярышника», «Лавровые рощи», «Цветущий мирт», либо «Бель вю», «Мон абри», «Мон репо»[4]. Не чаще одного раза на полсотни домов встретится такой наглый вызов обществу, который демонстрирует субъект (кончит наверняка в работном доме), покрасивший входную дверь не зеленой, а синей краской.

Ощущение липкой гадости на шее меня буквально деморализовало. Интересно, как эта штука может опустить. Весь гонор вышибает, будто оказался вдруг на людях с оторванной подметкой. В то утро виделся я себе без прикрас. Словно со стороны глядел на самого себя, идущего по улице, – толстого, красномордого, с фальшивыми зубами, скверно и вульгарно одетого. Джентльменом такому малому не притвориться. За двести ярдов видно, чем я занимаюсь, – то есть не в точности страховками, но явно чем-нибудь торгую, что-то рекламирую. На мне же просто униформа нашего племени: слегка потертый серый костюм «в елочку», синее пальто за пятьдесят шиллингов, котелок, перчаток нет. И стиль у меня, как у всех, имеющих процент с продажи, развязный, пошлый. В лучшие минуты, когда я выходной костюм надену и сигару закурю, меня можно причислить к букмекерам или владельцам баров, а в худшие – к тем, кто таскается по домам и навязывает пылесосы, но обычно оцените вы меня правильно. Едва взглянув, скажете: «Выколачивает парень свои пять – десять фунтов в неделю». Материально и социально я, так сказать, типичный представитель Элзмир-роуд.

Шел я по улице фактически один. Мужчины успели уехать поездом 8.21, женщины тормозились возле плит. А когда есть время пройтись по этим ближне-дальним пригородам и настроение есть поразмышлять, так просто смех берет насчет всей здешней жизни. Ну правда, что это, в конце концов, такое – улица вроде Элзмир-роуд? Тюрьма, тюремный коридор с рядами камер. Шеренга сдвоенных полуотдельных казематов, в

каждом из которых дрожит, трясется бедолага «от-пяти-до-десяти-фунтов-в-неделю», чьи жилы тянет палач-босс, на чьей шее сидит супруга-ведьма, чью кровь высасывают деточки-пиявки. Все это хрень насчет страданий пролетариев. Я лично не особо их жалею. Скажите, попался вам когда-нибудь чернорабочий, что ночами не спит – боится увольнения? Страдает работяга физически, зато отрубил смену – и свободен. Но в каждом из здешних отсеков горемыка, который не бывает свободным никогда и лишь в коротких снах мечтает о том, как скинет босса в шахту и завалит тонной угля.

Конечно, рассуждаю я сам с собой, кошмарный вывих нашего сословия, что мы воображаем себя владельцами чего-то очень ценного. Ведь девять из десяти на Элзмир-роуд в уверенности, что дома, где они проживают, их собственность. Хотя и наша улица, и весь квартал до Хай-стрит целиком в бандитских лапах домовладельческого общества «Сад Гесперид», принадлежащего строительной компании «Щедрый кредит». Вот эти «щедрое кредиты», надо думать, умнейший современный рэккет. И мое страхование, я признаю, чистое надувательство, но надувательство простое, откровенное. А шик таких строительных компаний – околпачить, убедив жертву в оказанном ей величайшем благодеянии. Вы ее палкой по хребту, а она ручку вашу лижет. Я бы увековечил «Гесперид» и всю эту систему монументом особого божества. Дивный вышел бы идол, среди прочего – гермафродит. Верх до пояса – генеральный директор фирмы, низ – родная милая женушка. В одной руке у идолища был бы ключ (от работного дома, разумеется), в другой этот... ну как его? кривой кулек со всякими подарками?.. Ага, рог изобилия, откуда фонтаном страховки, радиоприемники, вставные челюсти, пилюли, презервативы и садовые катки.

Дело ведь в том, что и внеся последний взнос за наше жилье на Элзмир-роуд, мы не становимся его хозяевами. Это ж не истинная собственность, фактически – аренда. Причем в домах такого класса, если за наличность, наша площадь идет примерно по триста восемьдесят, ну а с рассрочкой на шестнадцать лет цену поставили пятьсот пятьдесят. Сто семьдесят сразу в чистую прибыль «Щедрого кредита», который, уж будьте уверены, имеет с нас гораздо больше. В цену по триста восемьдесят входит и доход строителей, но наш «Щедрый кредит» под вывеской «Уилсон и Блум» сам строит и себе гребет. Тогда один расход – материалы, но тут опять-таки барыш, поскольку с вывеской «Брукс и Скаттерби» фирма сама себе продает кирпич, плитку, двери, рамы, песок, цемент, да и стекло, наверное. Меня б не слишком удивило, что под очередным названием ребята сами себе поставляют даже пиленный лес для оконных и дверных коробок. А в придачу (и это нас прямо сразило, хотя уж тут-то можно было предугадать) «Щедрый кредит» не обнаружил склонности блюсти чистоту сделки. Жилье по Элзмир-роуд возвели, оставив кой-какие участки пустыми, – не бог весть какая красота, зато детишкам хорошо, есть где побегать, на этих самых «плановых лугах». В бумагах не значилось, но всегда подразумевалось, что луга так лугами и останутся. Однако же пригород Западный Блэчли развивался: в 1928-м тут запустили фабрику «Повидла Ротвелла», в 1933-м – англо-американский завод цельностальных велосипедов, – а население прибывало, арендная плата повышалась. Никогда не имел счастья лицезреть во плоти ни сэра Герберта Крама, ни кого другого из шишек «Щедрого кредита», но так и вижу слюнки на их губах. Короче, вдруг явились землекопы и началась застройка луговых участков. В «Садах Гесперид» горестно взвыли, немедленно была учреждена ассоциация защиты дольщиков жилья – куда там! Адвокаты Крама в пять минут нас расколошматили, на «плановых лугах» выросли здания. Действительно красиво нас обвели, и не откажешь – по заслугам старому Краму титул

баронета, умен собака. Одним мифом, одной только иллюзией, что мы живем в своих домах, имеем, так сказать, «свой пай в стране», обращены мы, олухи несчастные из «Садов Гесперид» и прочих подобных ловушек, в вечных и верных рабов Крама. Ну как же, господа «почтенные домовладельцы» – то бишь все поголовно услужливые подлипалы-консерваторы. О нет, нельзя резать гусыню, несущую золотые яйца! А факт, что никакие мы на деле не домовладельцы, что мы вообще еще на середине выплат и замучены постоянным страхом каких-то бед, каких-нибудь помех очередным взносам, так этот факт лишь увеличивает наш рабский энтузиазм. Куплены с потрохами, и, главное, куплены за свои же кровные денежки. Каждый болван, рвущий кишки, дабы вдвойне оплатить эту кирпичную халупу и называющий ее «Прелестный вид», поскольку тут как раз ни вида, ни тем более прелести, каждый жизни не пощадит в бою, спасая родину от большевизма.

Свернув с Уолпол-роуд, я пошел по Главной улице. Поезд на Лондон был теперь в 10.14. Возле «Тысячи мелочей» припомнилось, что утром я наметил купить бритвенных лезвий. У прилавка с мылом заведующий отделом, или как там его по чину, распекал продавщицу. В такой час покупателей всякой дешевой ерунды не много. Если войти сразу после открытия, так иной раз увидишь всех девиц, выстроенных в ряд и получающих утренний нагоняй лишь для порядка, для рабочей формы на день. Говорят, торговые сети держат таких специальных парней с полномочиями издеваться и оскорблять, которых посылают по магазинам взбадривать девичьи коллективы. Заведующий был злобным недомерком, плечи квадратные и пики седых усов. Он только что атаковал растяпу за провинность – видимо, за какую-то ошибку в сдаче, – и зудел будто циркулярная пила:

– Нет-нет! Правильно сосчитать вам в тягость! Нет уж, не станете вы – правильно. Это ж какой труд, надорваться можно! Да ни за что!

Не удержавшись, я взглянул на продавщицу. Малопривычны ей были сейчас, когда ее песочили, взгляды немолодого толстяка с багровой мордой. Я тут же быстро отвернулся, притворившись, что страшно заинтересован товарами на соседнем прилавке: кольцами для занавесок или чем-то еще. А недомерок снова принялся зудеть. Из тех, что вроде стрекозы: отлетят и внезапным виражом опять по вашу душу.

– Правильно считать не для вас! Какое ж вам-то дело, если магазину убыток на два шиллинга? Ну что такое два боба для вас? Пустяк вовсе. Нельзя даже просить вас озаботиться и считать как положено. Нет-нет! Чтоб вам-то без хлопот, а остальное уж невелика важность. Думать-то о других вы не привыкли, и зачем вам?

Продолжалось это минут пять, слышно было на полмагазина. Он отворачивался, отходя, даря ей благодарную надежду, что отвязался наконец, и тут же опять налетал задать новую порцию. Стоя поодаль, я украдкой поглядывал на них. Виновная – девчонка лет восемнадцати, кубышка с круглым плосковатым лицом, которому не светит как-либо измениться к лучшему. Ее трясло, просто трясло от муки. Она вихлялась, как под ударами кнута. Другие продавщицы изображали слепоту и глухоту. Мучитель, плотный маленький поганец из боевитых воробьев (грудь колесом и руки за спиной, под пиджачными фалдами), – типичный старший сержант с характерным только для этого ранга росточком ниже нормы. А замечали вы, как часто палачами служить берут именно недомерков? Он был весь в поту, даже усы взмокли, и едва не въехал в нее от рвения пронять разносом. И девчонка – по телу дрожь, щеки пылают.

Наконец он решил, что хватит, отступил важно, будто адмирал на командирской палубе. Я подошел к прилавку с лезвиями. Усач знал, что каждое слово мне донеслось, девица тоже, оба они понимали и то, что знаю я, что они знают. Но хуже всего для меня – девчонка напустила вид, что ничего, мол, не случилось, и спесиво поджала губы, выражая умение барышни из магазина «держат дистанцию» с мужской частью клиентов. Гордячка леди через полминуты после того, как на моих глазах тряслась и пресмыкалась! Лицо ее еще горело, руки дрожали. Я спросил лезвий, она стала рыться в трехпенсовом подносе. В этот момент лютый начальник повернул к нам, и на секунду мы с продавщицей замерли, ждали – опять начнет. Девушка вздрогнула, как собачонка, заведывая хлыст. Но уголком глаза она косилась на меня, явственно вспыхивая злобой ко мне, свидетелю ее мучений. Вот дела!

Забрав пакетик лезвий, я убрался. Шел и раздумывал: почему люди это терпят? Трусят, конечно. Дерзко возразишь и тут же вылетишь. Повсюду так. Вот малый, например, в соседней бакалее, куда мы ходим. Двадцатилетний богатырь, румянец во всю щеку, бицепсы – ему бы при кузнечном деле, а он в своей беленькой курточке, низко вам кланяясь из-за прилавка, умильно ладони потирая: «Да, сэр! Точно так, сэр! Приятная погодка для этих дней. Чем могу услужить вам, сэр?» Буквально просит, чтоб вы его пнули. Ясно – заказы, покупатели и «клиент всегда прав». И на лице его печать смертного ужаса: ведь вы пожаловаться можете на недостаточно любезного, и тогда его в шею. Вообще, откуда ему знать: вдруг вы не покупатель даже, а тайный ревизор компании? Ох, страшно! Рыбешки мы в море страха. Наша, наша стихия. Кто не пришиблен страхом увольнения, тот боится войны, фашизма, коммунизма или еще чего-нибудь такого. У евреев мороз по коже, как вспомнят Гитлера. Тут у меня мелькнуло, что злобный поганец в магазине тоже, может, трясется, держится за место не меньше продавщицы. Наверное, семью тянет и дома он, возможно, тихий добрячок, на заднем дворике огурчики растит, дает жене командовать, а ребяташки его за усы треплют. Вы ж никогда не прочитаете насчет испанских инквизиторов или тузов из русского ОГПУ без того, чтобы вам не рассказали, какой этот изверг был в частной жизни милый да сердечный, лучший из мужей и отцов, канарейку свою обожал и прочее.

Девица от прилавка с мылом все смотрела мне вслед, когда я выходил. Убила бы меня, если б могла. Просто возненавидела, да как! Сильней гораздо, чем своего начальника.

3

Низко летел бомбардировщик. Минуту-две казалось – на одной скорости с нашим поездом. Напротив уселась пара вульгарных типчиков в поношенных пальто: делеги самого мелкого пошиба, агенты по распространению чего-нибудь. Один стал читать «Мейл», второй – «Экспресс». Меня они явно приметили и оценили как своего. В другом конце вагона двое с черными мешками, клерки адвокатских контор, громко вели беседу, сыпля юридической галиматьей, чтобы всех поразить и показать – они-де не из общего стада.

Я смотрел на плывущие мимо задворки зданий. Ветка от Западного Блэчли большей частью идет через трущобы, но такой покой на душе, когда мелькают задние дворики с цветами в ящиках, птичьи клетки на стенах и плоские крыши, где женщины белье развешивают после

стирки. Огромный черный бомбардировщик повисел в воздухе и резко взмыл, исчезнув из моего поля зрения. Я сидел спиной к паровозу. Делаш напротив глянул на взмывший самолет. И ясно, о чем ему подумалось. О том же, о чем всем сегодня. Большого ума не надо, чтобы такие мысли побежали. Как через год, через два мы тут поведем себя при виде таких штук? С испугу обмочив штаны, кинемся по подвальным норам?

Делаш отложил свою «Дейли мейл».

– Тэмплгейтский призер опять первым, – сообщил он.

Клерки-законники наперебой выхвалялись мудреной чушью насчет «безусловных прав наследования» и «номинальной аренды». Второй делаш, порывшись в кармане жилета, вытащил мятую дешевую сигарету. Потом, похлопав по другим карманам, наклонился ко мне:

– Бочонок, спичка есть?

Я достал спички. Ишь, Бочонок я ему. Нет, даже интересно. С мыслью про бомбежки я переключился на размышления о своей фигуре, как раз подробно мной обследованной утром в ванной.

Что говорить, я полноват. Сложение у меня и вправду бочка бочкой. Но вот ведь любопытно: потому только, что вам случилось слегка растолстеть, чуть ли не всякий, даже совершенно незнакомый, вправе кинуть насмешливое прозвище, глумясь над вашей особой комплекцией. Представьте парня с горбом, или косоглазого, или же с заячьей губой – вы станете кличкой напоминать ему об этом? Ну а если толстяк, то само собой. Я из таких, кого уж непременно по спине хлопнут, пихнут в бок, причем в уверенности, что мне это очень нравится. Мне никогда не войти в бар «Корона» (это в Падли, я там бываю по делам разок в неделю), без того чтоб осел Уотерс, который коммивояжером от мыловаров «Пенистой волны», но в основном пиво тянет в «Короне», не ткнул меня пальцем под ребра, припевая: «Ой, раскормил он мощи, Том Боулинг усопший», – а идиоты вокруг не заржали от этой постоянной шуточки. Палец-то, между прочим, у чертова Уотерса как штырь железный. Они думают: толстый, так ничего не чувствует.

Делаш взял еще спичку, в зубах поковырять, и вернул коробок. Поезд, засвистев, въехал на железный мост. Внизу по шоссе катил мучной фургон, тянулась длинная колонна грузовиков с цементом. А странно, думал я, ведь в чем-то они насчет толстяков и правы. Толстый, особенно когда он пузан с детства, так сказать врожденный, он не совсем такой же человек, как прочие. Идет по жизни в неперменной персональной комической манере, вечно он вроде юмориста на концерте, а если кто за триста фунтов вес набрал, то прямо-таки уже клоун. Я побывал и тощим, и дородным – знаю, как полнота твой взгляд на мир меняет. Округлишься, и будто защищен, и перестанешь брать все чересчур всерьез. Сомневаюсь, что тот, кто с малых лет по прозвищу Толстунчик, способен очень уж переживать. Как ему? У него и опыта такого не набралось. Ему ведь даже не изобразить трагедию; известно – раз толстяк на сцене, будут шуточки. Представить только – толстобрюхий Гамлет! Или Оливер Харди в роли Ромео. Совсем недавно, между прочим, мне подумалось об этом самом, когда я читал книжку, которую у Бутса взял, роман «Безумно и безответно». Там один парень узнает вдруг, что подружка его ушла к другому. Парень, естественно, как полагается в романах, с волной темных волос, бледным нервным лицом и солидным доходом. Помню

примерно вот такое место: «Ладонями обхватив голову, Дэвид метался по гостинной. Известие его сразило. Долгое время он просто не мог поверить – Шейла изменила! О нет! Нет! Но внезапно сознание прояснилось, истина открылась во всем ее безмерном ужасе. Вынести это было невозможно. Он рухнул как подкошенный и зарыдал».

Да-да, примерно так. Читал я тогда и слегка задумался. Случай понятный, но, стало быть, тому парню, да и другим, вполне нормально тут так убиваться. Ну а вот я? Ну, предположим, гульнула с кем-то Хильда в уик-энд. И черт с ним, пусть. Нет, вообще было бы приятно получить повод хорошенько ей поддать, но чтоб я рухнул и рыдал? Я-то, с моими телесами? Да это был бы просто срам.

Поезд пыхтел по набережной, за окнами тянулись непрерывной лентой крыши, красные крыши частных домиков, куда, блеснув в лучах железными боками, полетят бомбы... До чего же эти бомбы засели у всех нас в мозгах. А полетят наверняка и скоро, вопроса нет. По бодрим утешениям газет понятно, что уже вот-вот. На днях в «Хронике новостей» писали, что теперь самолетная бомбежка больше не страшна. Мол, есть такие противовоздушные орудия, что не дадут бомбардировщикам спуститься ниже двадцати тысяч футов. Газетчик, видно, думает, что если самолет на очень большой высоте, так бомбам до земли не долететь. Или, скорее, речь про то, что Арсенал в Вулидже[5] не заденет, а разбабахают только предместья наподобие Элзмир-роуд.

Но, вообще говоря, не так уж плохо быть толстяком. Во-первых, популярность обеспечена. В любой компании, хоть с маклерами, хоть с епископами, толстяк как дома. И касательно женщин у него удач больше, чем некоторым кажется. Зря представляют, что толстяк женщине – всегда только смешить ее. На деле женщинам любой мужик не в шутку, если умелец зубы заговаривать насчет своей страстной любви.

Однако же я не всегда бочонком был. В последние лет восемь-девять раздобрел и приспособил себя к соответственной манере. А по натуре, по душе, как говорится, я не вполне толстяк. Нет, не подумайте, что нежный цветик, за улыбкой прячу израненное сердце и все тому подобное. С таким набором в страховом бизнесе делать нечего. Я наглый, вульгарный, бесчувственный и в своем окружении на месте. Пока в мире будут такие штучки, как выжимание денег за процент и заработок путем одного только бесстыдства, будут и подходящие ребята вроде меня. Я, что бы ни было, всегда смогу подзаработать (подзаработать, но солидно-то нажиться – никогда); пусть даже война, революция, чума и голод, я выкручусь, продержусь дольше остальных. Да, из таковских я. И все же кое-что еще во мне имеется, осталось что-то от меня прежнего. Что? Я скажу: хоть жирку нарастил, а под ним я все тот же – тощий. Вам вот не приходило в голову, что – как про камни говорят – внутри у каждой глыбы статуя, так и во всяком толстяке внутри худышка?

Делаш, который у меня спички просил, всласть ковырялся меж зубов, насупясь над газетой.

– Солдатские обмотки вроде бы туго идут, – произнес он.

– Да вовсе не впихнуть, – откликнулся второй. – А как понять-то «пара ног»? Не все, что ль, пятки равно мозолями кровят?

– Видно, прикажут ихние ноги на марше газетами обертывать, – съязвил первый.

За окном все тянулись ряды крыш, вились лентами вдоль дорог и улиц, будто сам скачешь по холму, а внизу неоглядная долина. Лондон и вдоль и поперек – это же двадцать миль домов почти что сплошь. Господи! Начнутся налеты, и как же нас не разбомбить? Мы целиком одна громадная мишень. И без предупреждения, наверно. Кто в наше время этакий кретин, чтоб объявлять войну? Будь я Гитлером, так послал бы самолеты посреди мирной конференции. Каким-нибудь тихим, спокойным утром, когда клерки толпой поспешают через Лондонский мост, тетки тряпье развешивают на веревках, канарейки радостно заливаются, с неба вдруг гул – и бам! бу-бух! Дома на воздух, по тряпью брызгами кровь, и щебет канареечный над трупами.

Не жалко, а? Я смотрел на безбрежное море крыш. Миля за милей улицы, лавки жареной рыбы, церковные кровли, киношки, затиснутые в переулках книжные магазинчики, фабрики, муравейники квартир, ларьки с моллюсками, молочные, электростанции – без конца и без края. Целый мир! И какой покой всюду! Просто заветные леса без хищников. Из пушек не палят, гранаты не бросают, никто никого даже резиновой дубинкой не молотит. Подумать только, во всей Англии сейчас ни одного окна, откуда целится винтовка.

Но через пять годков? Через два года? Через год?

4

Закинув бумаги в контору, я двинул дальше. Уорнер из дешевых дантистов по-американски, приемная его (он любит говорить – «мой кабинет») в скопище офисов, между фотографом и оптовым торговцем резиной. Прибыл я раньше назначенного часа, как раз образовалось время заправиться, и почему-то стукнуло мне потащиться в молочный бар. Вообще-то я по таким барам не ходок. Нас, братию «от-пяти-до-десяти-в-неделю», не очень в этих новомодных столичных кафе привечают. Если приспичило вдруг спустить шиллинг на жратву, тебя в каком-нибудь «Лайонзе», «Экспресс дэри», «Эй-би-си»[6] или любом подобном, до смерти тоскливом заведении обслуживают у буфетной стойки, кинут небрежно пинту горького и ломоть пирога, который еще холоднее пива. Снаружи молочного бара орала мальчишки с пачками свежих вечерних выпусков.

За сверкающей багровыми лампочками стойкой девица в белом колпаке возилась у холодильника. Позади нее играло радио, шпарило неотвязно: пум-блям-блям-пум. Сразу подумалось: «Какого хрена я сюда приперся?» Атмосфера этих закусовых на меня давит. Все гладко, голо, обтекаемо; куда ни глянь – эмаль, стекла зеркал, хромированный никель. Затраты все на антураж, ноль на провизию. Настоящей еды вообще нисколько. Только прейскурант ерунды с американскими названиями, дряни без запаха и вкуса, в которую едва поверишь, что съедобно. Продукты из коробок и жестянок, или из замороженных брикетов, или из тюбиков. Ни уюта, ни удобства. Сидишь тут на высоком табурете, как на жердочке, нормально не поесть, со всех сторон зеркальный глянец. Короче, с одной целью тебе глаза слепит, уши мозолит бренчанием радио – еда не важно и комфорт не важно, ничего важного на свете нет, кроме того, чтоб обтекаемо блестело и быстрее, попроще, поточным методом. Везде теперь эта вот гладкая штамповка, даже в пулях, что Гитлер для тебя припас. Я заказал большую чашку кофе и порцию сосисок. Девица в белом колпаке шваркнула мне еду с такой любезностью, с какой сушеных личинок сыпят рыбкам.

Мальчишка-газетчик вопил у входа: «Сенсационно-новосси!» Трепетал лист с крупным газетным заголовком: «ДЕЛО О НОГАХ. НОВЫЕ СТРАШНЫЕ ОТКРЫТИЯ». Ну ясно, опять «о ногах». Хорош сюжетец. Два дня назад нашли в пакете на вокзале ноги какой-то женщины, и тут же хлынул поток статей – народу ж, понятное дело, нет ничего нужнее, интересней, чем про отрезанные ноги. Главная новость наших дней. Странно, однако, думал я, жуя пресную булочку, до чего скучные теперь пошли убийства. Все эти трупы, расчлененные, частями раскиданные по разным местам. Ни следа старинных добротных драм с кинжалами и флакончиками яда, с жуткими страстями Криппена, Седдонов или миссис Мэйбрик[7]. Явный упадок. Похоже, убийства шикарного не совершить, если не верить, что за свое злодеяние будешь вечно в аду жариться.

В этот момент я надкусил свою сосиску... Черт!

Честно сказать, на особо приятный вкус я не рассчитывал. Ожидал – просто жвачка вроде булки, но это! Ладно, провел опыт на себе. Сейчас попробую описать ощущения.

Сосиска, разумеется, была тугая, будто резиной обтянута, и мои временные зубы тут не совсем годились. Пришлось кромкой зубов как бы пропиливать шкурку. И вдруг из-под нее – плюх! Как из лопнувшей гнилой груши. И весь рот полон какой-то мягкой гадости. А вкус! Секунду я прямо не мог поверить, потом снова потрогал языком – ну точно, рыба! Сосиску, то есть мясную колбаску, набили рыбным фаршем! Я встал и вышел, кофе даже не попробовав. Бог знает из чего его сварили.

На улице мальчишки бросились совать мне выпуск «Знамени», выкрикивая: «Ноги! Подробносси шокируют! Призеры скачек! Полный список! Ноги! Улики ужасают! Ноги!» Я все еще шагал с набитым ртом, соображая, куда бы выплюнуть. Помнится, было как-то в газетах насчет германских пищевых фабрик, где продукт ухитряются изготавливать из чего-то другого. У немцев это называется «эрзац». И помнится, про немцев я читал, что колбаса у них из рыбы, а в рыбе, уж конечно, ничего рыбного. В общем, такое чувство появилось, что надкусил я современный мир и обнаружил, из чего он на самом деле. Общий настрой нынче: все оптимально, обтекаемо, с гляncем и обязательно из заменителя. Резина, целлулоид, всюду блеск хромированной стали, ночь напролет светятся дуговые лампы, крыши стеклянные, по радио дудят модный мотивчик, вместо травы сплошь асфальт да цемент, вместо наваристого супа соки «нейтральных фруктов». А как порой до сути доберешься – испробуешь на вкус что-то надежное, ну, например, сосиску, – поймешь, что получил. Тухлую рыбу в резиновой кожуре. Взрывы помойных бомб во рту.

Со вставленными новыми зубами мне стало чуть получше. Протезы сидели хорошо, плотно к десне, и хоть нелепо звучит, что искусственная челюсть бодрит и молодит, но так и было. Я попробовал улыбнуться сам себе, глядясь в витрину, – а что, не так уж плохо! Уорнер берет дешево, но, можно сказать, артист в своем деле и не стремится сделать из тебя рекламу зубной пасты. У него, он однажды мне показывал, шкафы набиты фальшивыми зубами, разложено все по ранжиру согласно размерам и оттенкам, и он их подбирает, как ювелир камни для ожерелья. Девять из десяти примут мои зубы за натуральные.

Я увидел себя в очередной витрине во весь рост, и вид мой показался вдруг вполне даже пристойным. Грузноват, не поспоришь, но не туша – просто, как говорят портные, «полная фигура», – а морда красноватая, так некоторым женщинам как раз такие вот здоровяки и нравятся. Нет, жив еще старый пес! Вспомнив про заветные семнадцать фунтов, я точно

решил – потрачу на баб. Тем временем настал час принять пинту до перерыва в пабах (надо ж новые челюсти обмыть!), и чувство богача с порядочной заначкой вдохновило зайти в лавку купить сигару за полшиллинга. К этим сигарам у меня слабость, они длинные, восемь дюймов, с гарантией «Гаванский табачный лист». Хотя, подозреваю, и в Гаване капустного листа полно.

Из паба я вышел совершенно разомлевшим. От пары пинтовых кружек внутри потеплело, втекавший меж новых зубов дымок сигары омывал душу блаженным покоем. Потянуло на философию (это отчасти потому, что мог бездельничать). Снова, как утром в поезде при виде летевшего бомбардировщика, потекли мысли о войне. Но настроение уже было другое, такое настроение, когда пророчишь насчет близкого конца света и тебе это не без удовольствия.

Шел я по Стрэнду, и хотя было холодновато, шел медленно, чтоб наслаждаться своей сигарой. Вплотную туда и сюда сновали люди с обычным у лондонских прохожих безумным выражением лица, посреди мостовой образовалась обычная пробка с автобусами, что пытались продвинуться в гуще автомобилей, и таким шумом ревущих моторов, сигналиющих гудков, что мертвец бы проснулся. Но этих не разбудишь, думал я. Казалось, я единственный живой в селении лунатиков. Так только кажется, конечно. Шагая в незнакомой толпе, очень даже легко вообразить, что вокруг Музей восковых фигур, но ведь, наверно, каждая персона про тебя то же думает. И это вот пророческое настроение, которое меня последнее время одолевает – чувство, что война на подходе и скоро всему конец, – это ж не только у меня. Всех это гложет, так или иначе. Должно быть, и сейчас здесь идут те, кому видятся взрывы и горы щебня. Любая ваша мысль одновременно варится еще в миллионе голов. И все же мне казалось: народ на пылающей палубе, а пожара никто не видит, кроме меня. Я смотрел на лица спешащих мимо болванов – точь-в-точь индюки за пару недель до рождественских ужинов. Словно рентгеновским лучом мой глаз просвечивал их, видел насквозь.

Представилась эта самая улица лет через пять или поменьше после начала боев (заварится каша, как ожидают, в 1941-м).

Нет, не дотла. Так, небольшие изменения: все стало каким-то обшарпанным и грязным, витрины почти пусты, и столько пыли на их стеклах, что уже не посмотришься. В переулке огромная воронка от бомбы, стены сгоревшего здания торчат как сгнивший зуб. Муравьиная жизнь. На удивление тихо, и народ весь заметно отощал. Солдатский взвод марширует по мостовой, ребята худые как щепки, еле башмаки волочат. Сержант с усами штопором осанку строевую держит, но тоже тощий и зашелся кашлем чуть не до рвоты. Перебарывая кашель, сержант пытается орать на подчиненных в стиле прежних учений на плацу: «Башку подыми, Джон! Чего ты по земле глазами шаришь? Окурков уже год как не найти». Тут его снова настигает приступ кашля, ему не справиться, его сгибает пополам, кашель чуть кишки не вытряхивает, багровое лицо синеет, усы виснут сосульками, из глаз слезы.

Я слышу вой сирен, предупреждающих о воздушном налете, и зычный бас из репродуктора, оповещающий о том, что наши славные солдаты захватили сто тысяч пленных. Я вижу комнатуху в Бирмингеме, мальчика, что без умолку хнычет, кланча хлеба, и мать, которая, не выдержав, вопит: «Заткнись ты, выродок!», а потом, задрав сыну рубашонку, хлещет его

по заднице, поскольку хлеба у нее ни крошки и не предвидится. Я вижу все это. Вижу плакаты и очереди за продуктами, вижу касторовое масло, резиновые дубинки и дула строчащих из верхних окон пулеметов.

Грянет такое? Кто же знает. Бывают дни, когда просто нельзя поверить, когда я сам себе говорю – это газеты панику наводят. Бывают дни, когда я нутром чую – не избежать.

На подходе к Чаринг-кросс мальчишки выкрикивали заголовки более поздних выпусков. Естественно, опять чушь про убийство: «НОГИ: ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗВЕСТНОГО ХИРУРГА». В глаза бросилась еще одна новость на газетной афише: «СВАДЬБА КОРОЛЯ ЗОГА ОТЛОЖЕНА». Король Зог! Ну и имечко! С трудом представишь, что этот албанский парень не черный как смоль африканец.

Тут случилась странная вещь. Каким-то манером это самое все время мелькавшее «король Зог» смешалось с уличным шумом, или запахом конского навоза, или еще с чем-то, и вдруг всплыло воспоминание.

Любопытная штука – прошлое. Оно всегда с тобой; думаю, часа не проходит без мысли о чем-то, что было десять-двадцать лет назад. Причем обычно это будто не из жизни, а из учебника истории. Но иной раз какой-нибудь вид или запах (в особенности запах) – и ты не просто вспомнишь, ты окажешься там, в прошлом. Ну так вот.

Я снова стоял в нашей приходской церкви Нижнего Бинфилда. Внешне по-прежнему шагал по Стрэнду, толстый и сорока пяти лет, в котелке и с зубным протезом, но внутри опять сделался семилетним Джорджи, младшим сынишкой Сэмюеля Боулинга («С. Боулинг: торговля кормовым зерном и семенами», Нижний Бинфилд, Главная улица, 57). Было воскресное утро, я стоял, тянул носом специфический церковный воздух. Как он хлынул мне в ноздри! Этот известный всем церковный запах сырости, пыли, сладковатого тлена. Запах, отдающий свечным салом, присутствием мышей и порой дымком ладана, а утром по воскресеньям еще глицериновым мылом и платьями из саржи. Но прежде всего сладковато-затхлая смесь, словно жизнь пополам со смертью. И впрямь ведь в воздухе витали частицы могильного праха.

В те времена я ростом был четыре фута, стоял на кожаной, для коленопреклонений, подушечке, чтобы видеть поверх спинок скамей, держался за черное саржевое платье матери. Как сейчас чувствую на коленках тугие чулки (в будни-то мы их не носили) и трущий шею круглый белый воротник, который мне нацепили по случаю воскресенья, слышу хриплый орган и оглушительное пение дуэтом. В нашей пастве сильными голосами отличались двое – Шутер, торговец рыбой, и Уэзерол, столяр-гробовщик, – которые в хоровом исполнении псалмов гревели так, что остальным попеть почти не доставалось. Садись они всегда на первую скамью, на разные ее концы, и сами были до странности разные. Шутер – толстый румяный коротышка с огромным носом, вислыми усами и считай что без подбородка. А Уэзерол – жилистый, долговязый старый черт уже за шестьдесят, серый как мертвец, с коротким густым ежиком седых волос. Я никогда не видел человека, так похожего на скелет. Все кости черепа видны под пергаментной кожей, громадные челюсти с полным набором желтых зубов ходят вверх-вниз, как у скелета в музее анатомии. И при всей своей худобе выглядел столяр таким крепким, что ясно было: сто лет проживет и всем сидящим рядом успеет гробы настрогать. Пели они тоже в контраст. Шутер отчаянно вопил, словно ему нож к горлу приставили, выл, заливался. А Уэзерол грохотал, будто

тяжеленные бочки по подвалу катались. Причем, как бы он ни ревел, вы понимали – сможет еще наддать. Дети его прозвали Громышалой.

У солистов наших была привычка под конец псалма этак заспорить, схватиться голосами (побеждал всегда Уэзерол). В жизни, я думаю, они были приятели, но мне, ребенку, казалось тогда, что бьются смертельные враги. Шутер звонко выкрикивал, к примеру: «Господом я ведом», – а Уэзерол раскатистым басом вступал: «И нет мне более нужды ни в чем», – и совершенно подавлял соперника. Я всегда с нетерпением ждал тот псалом, где упоминаются царь Сигон и царь Ог (а, вот ведь почему имечко «король Зог» мне память растревожило). Шутер затягивал: «Сигон, царь Аморрейский...» – на долю секунды прорезалось спетое хором прихожан «и», а затем накрывающим все морским валом рушился бас Уэзерола: «О-ог, царь Васанский». Не передать, как у него гремело-грохотало это «О-о-ог». Мне-то по малолетству слышалось «дог» и представлялся страшный царский пес. Позже, когда уже я догадался про имена царей, Ог и Сигон мне виделись, как статуи египетских фараонов в картинках школьной энциклопедии, – восседающие друг против друга каменные гиганты с положенными на колени руками и слабой загадочной улыбкой на неподвижных лицах.

Как оно меня всколыхнуло! Это чувство, не что иное, а вот чувство, живое ощущение – «церковь». Сладкий душок тления, шелест воскресных платьев, хрип органа, волны поющих голосов, медленно переползающий по плитам пола лучик света из дырки в оконном витраже. Каким-то уж образом взрослые умели впихнуть в тебя, что все эти странные спектакли необходимы. И ты как должное принимал эти действия и Библию, которая тогда давалась в изрядных дозах. На каждой стене были тексты из Ветхого Завета, так что целыми главами помнились наизусть. До сих пор у меня голова набита обрывками библейских фраз. «Вновь содеяли злое в очах Господа сыны Израилевы» – «Асир, покойно пребывающий» – «собрались тогда все отовсюду, от Дана до Беэр-Шевы» – «и поразил его под пятое ребро, и умер Авенир»... Ничего было не понять, да вроде и не требовалось. Полагалось только глотать эту микстуру, снадобье из невесть чего, и ты глотал, верил – зачем-то надо. Всякая несуразица про людей с именами Шемай, Ахитофель, Навуходоносор, еще какой-нибудь Абракадабр – диковинных людей с волнистыми бородами, в длинных жестких одеяниях; людей, которые все ездят на верблюдах среди храмов и кедров или проделывают разные невероятные штуки. То они молитвы возносят на жертвенных кострах, то гуляют в горячей печке, то висят, приколотенные на крестах, то их киты глотают. И все это со звуком хрипло рычащего органа, приторным душком кладбищенского тления, запахом платья из новой саржи.

Вот в какой мир я возвратился, увидев газетный анонс про короля Зога. На несколько секунд буквально там побывал. Такие вещи, конечно, долго не длятся. Миг-другой, и я будто разомкнул сонные глаза: снова мне было сорок пять, снова передо мной теснилась пробка на Стрэнде. Но след это оставило. Обычно вынырнешь из воспоминаний и очнешься, но теперь чувствовалось по-другому: словно бы я действительно вдохнул воздух 1900-го. Даже когда я, так сказать, проснувшись, опять смотрел на снующих туда-сюда болванов и в нос мне била вонь бензиновых моторов, сутолока эта мне казалась менее реальной, чем воскресное утро в Нижнем Бинфилде тридцать восемь лет назад.

Сигару я отшвырнул, шел медленно. А сладковатым душком тлена тянуло по-прежнему. Он, этот запах, понимаете ли, продолжал мне ноздри щекотать. И я опять там – Нижний

Бинфилд, 1900 год. Возле кормушки на Рыночной площади лошадь возчика жуёт из торбы овес. В лавке сластей на углу мамаша Уилер отвешивает на полпенса сахарных коньячных шариков. Катит экипаж леди Рэмплинг, на запятках ливрейный грум, покойно пребывающий, надменно скрестив руки. Дядя Иезекииль честит Джо Чемберлена[8]. Сержант новобранцев, в шапке коробом, алой куртке и синих кавалерийских штанах, гордо прохаживается, крутя ус. На заднем дворе гостиницы «Георг» тошнит пьянчужек. Вики в Виндзоре[9]. Бог на небесах. Христос на кресте. Анания, Азария и Мисаил в пылающей печи[10]. Сигон, царь Аморрейский, и Ог, царь Васанский, восседают друг против друга на каменных тронах – просто сидят: надёжно, нерушимо существуют на своих назначенных местах наподобие пары подставок для каминных дров или Льва и Единорога[11].

Прошлое наше уходит навсегда? Да вряд ли. И одно вам скажу – славный это был мир, жилось в нем славно. Я весь оттуда. Как и вы.

Жизнь, которая вдруг вспомнилась при виде заголовков с именем короля Зога, так отличалась от моей жизни сейчас, что даже нелегко поверить в мое родство с той давней далью.

Вы уж, наверно, мысленно смогли меня представить – немолодой красномордый толстяк со вставной челюстью, и вам заодно видится, что я такой от колыбели. Но сорок пять лет – большой срок, и хотя есть люди, что не особенно меняются, другие – еще как. Я сильно менялся с годами. Меня швыряло вверх и вниз; чаще, надо сказать, вверх. Смешно звучит, но мой отец наверняка гордился бы мной нынешним. Ему казалось бы роскошным, что у его сына автомобиль, что проживает сынок в доме с ванной. И в данный момент мое положение выше родительского уровня, а бывали деньки, когда я так поднимался, как нам даже не грезились перед войной.

Перед войной! Интересно, сколько еще у нас будут так говорить? Сколько лет, пока не начнут обязательно переспрашивать: «Какой войной?» Теперь уж мечтать не приходится, чтобы, услышав «перед войной», почти всем окружающим подумалось бы – перед Бурской[12]. А я, родившийся в 1893-м, ведь помню грянувшую войну с бурами, начало ее врезалось мне в память из-за бешеных споров отца с дядей Иезекиилем. Помнится кое-что и еще более раннее.

Самое первое – специфический мякинный запах травяных семян. Он был все гуще на пути по кирпичному коридору из кухни в магазин. Мать перегородила тот проход решетчатой калиткой, чтоб не пускать нас с Джо, моим старшим братом, к товару и покупателям. Помню, как я стоял, держась за брусья решетки, как сильно пахло семенами и сыроватой штукатуркой. Однажды я все-таки умудрился калитку открыть, пробраться в пустой на тот час магазин. Копошившаяся в ларе мышь вдруг выскочила и пробежала прямо между моими башмаками, вся белая от муки. Было мне тогда лет шесть.

В раннем детстве ты как-то внезапно, одну за другой осознаешь вещи, которые все время тебя окружали. К примеру, лишь года в четыре я понял вдруг, что у нас есть собака. Звали пса Удальцом, старый белый английский терьер, эта порода теперь вывелась. Наткнувшись как-то на него под кухонным столом, я именно в тот момент неожиданно и непонятным образом постиг – наш пес, наш Удалец. Тем же манером я чуть раньше уразумел, что за калиткой в конце коридора есть некое помещение, откуда идет мякинный запах. Сам магазин, огромные весы, деревянные мерки, надписи мелом на окне и украшающий

витрину снегирь в клетке (которого, впрочем, непросто было рассмотреть с улицы через вечно пыльное стекло) – все постепенно, поочередно укладывалось в голове наподобие составных частей мозаики-головоломки.

Время идет, ноги крепнут, и начинаешь мало-помалу осваивать местную топографию. Наш Нижний Бинфилд в Оксфордшире был типичным торговым городком с населением в пару тысяч жителей (забавно – я говорю «был», хотя он никуда не делся). Городок в долине, милях в пяти от Темзы, со стороны реки пологая бугристая возвышенность, с другой – гряда холмов. Там, наверху, среди синеющей массы лесов белел большой дом с колоннадой – Бинфилд-хаус (у нас его называли «Усадьбой»), и хоть селение на холме давным-давно исчезло, бывшее его место продолжало именоваться Верхним Бинфилдом. Мне, должно быть, исполнилось семь, когда я впервые заметил Бинфилд-хаус. Малышам вдаль смотреть неинтересно. Зато свой город – располагался он крестом с площадью в центре – я уже знал до последнего дюйма. Наш магазин стоял на Главной улице, вблизи от рынка, а на углу была лавка сластей миссис Уилер, где спускались перепадавшие тебе полпенни. Мамашу Уилер, неопрятную старую хрычовку, народ подозревал в обсасывании леденцов, кладущихся обратно в банку, хотя с поличным старуху ни разу не поймали. Ниже нас по улице находилось заведение цирюльника, зазывавшее рекламой сигарет «Абдулла» (той самой, с изображением египетских воинов, что, как ни странно, используется по сей день), шибавшее из двери ароматом лавровишневой воды и душистого арабского табака «Латакия». На краю городка торчали трубы пивоваренного завода. Посреди Рыночной площади имелась поилка для лошадей, с неизменно плававшим в каменном корыте толстым слоем соломенной трухи и пыли.

Перед войной, в особенности перед Бурской войной, круглый год стояло лето. Умом я знаю, что не так, просто стараюсь передать свое ощущение. Нижний Бинфилд моих дошкольных лет всегда видится мне в летнюю пору. Или это обеденный час на рынке, когда царит особенная, сонно-пыльная тишина и лошади жуют, зарывшись мордами в длинные торбы; или полуденный зной на цветущих окрестных лугах; или ранние сумерки на тропке между живыми изгородями, когда в воздухе плывут струйки дыма из курительных трубок и сквозь кусты сочится аромат ночных левкоев. Вообще-то я могу припомнить кой-какие картинки не только летних месяцев, но исключительно в связи с не прекращавшимся целый год поиском всевозможной съедобной добычи. Усерднее всего мы рыскали возле изгородей. В июле попадалась ежевика (редкий трофей) и уже краснела, годилась кинуть в рот черная смородина. В сентябре, конечно, ягоды терна и лесные орехи – самые крупные орешки никогда было не достать. Затем буковые орехи и дикие яблоки. Кроме того, корма похуже, но тоже потребляемые за неимением лучшего. Совсем невкусные ягоды боярышника и кисленькие, довольно приятные (главное тут – не прикусить семян с ворсинками) плоды шиповника. В начале лета, особенно когда пить хочется, хорошо пожевать дудник или стебельки разной травы. Отлично идет к хлебу с маслом щавель, а также кислица и земляной каштан. Даже семена подорожника лучше, чем ничего, если оголодал, а до дому еще неблизко.

Джо был на два года старше меня. Пока мы не подросли, мать нанимала гулять с нами Кейти Симонс. Отец Кейти вкалывал на пивоваренном заводе, у них было четырнадцать детей, так что все члены семьи постоянно искали, где бы подработать. Мне было пять, Джо – семь, а нашей няньке лишь двенадцать, и умственным развитием она не слишком нас

превосходила. Крепко державшая меня за руку и называвшая «деткой», Кейти имела полномочия не подпускать нас к быкам и держать подальше от дороги с колесными экипажами, но разговаривали мы почти на равных. Обычно мы отправлялись в поход – по дороге, разумеется, не пропуская ничего съедобного – тропинками между участков, потом через Роперские луга до мельничного пруда, где водились тритоны и крошечные караси (став постарше, мы с Джо ходили туда на рыбалку), а возвращались непременно мимо находившейся на краю городка кондитерской. Место было для магазина столь невыгодное, что владельцы его один за другим разорялись. На моей памяти, в очередь с трижды возрождавшейся торговлей сладостями там были и бакалея, и ремонт велосипедов. Но нас к кондитерской влекло волшебной силой. Даже без единой монетки мы обязательно подходили плющить носы о витринное стекло. Кейти не важничала, равноправно участвуя как в покупке сластей на фартинг[13], так и в ссорах из-за дележки. А сколько изумительных вещей можно было тогда купить на фартинг! Большинство сладостей продавалось – четыре унции за пенни, а «райской смеси» (обломков из разных банок) за пенни отвешивали аж шесть унций. И еще фартинговые тянучки, которые растягивались на целый ярд и таяли во рту не меньше получаса. И сахарные мышки или свинки по восемь штук за пенни, и ликерные бомбочки, и большие кульки попкорна за полпенса, и «приз-пакеты», в которых среди россыпи разных конфет счастливым иногда доставалась свистулька. Тех «приз-пакетов» больше не увидишь. Целые виды их, прежних сластей, исчезли. Пропали сладкие белые пластинки с выдавленными на них девизами, кануло липкое розовое лакомство в овальных коробочках со специальными малюсенькими оловянными ложечками. Сегодня уже едва отыщешь на прилавках шоколадные трубочки, палочки постного сахара, фруктовые батончики с тмином и даже «пестрое драже». Именно «пестрое драже» предпочиталось, если капиталы не превышали фартинг. А «Великан»? Куда девался «Великан»? Эта огромная бутылка, вмещавшая больше кварты шипучего лимонада, стоила всего пенс. Убито, тоже убито войной.

Да, оглянувшись назад, я всегда почему-то вижу лето. Трава вокруг в мой рост, от земли пышет жаром. Пыль на тропинке и теплый зеленоватый свет сквозь густую листву орешника. Вижу нас, всех троих, бодро топающих, жующих добытое по пути возле изгородей. Кейти тянет меня за руку, потирает: «Давай, детка, давай шибче!» – и кричит вслед убежавшему вперед брату: «Джо, сей момент обратно! Эй, получишь у меня!» Крепыш с большущей головой и толстыми икрами, Джо был любитель поозорничать. В семь он уже носил короткие штаны, плотные чулки до колен и грубые башмаки, полагавшиеся мальчишкам. А меня мать все еще наряжала в платье-рубашонку из сурового полотна. Кейти обычно щеголяла в доставшемся от старших сестер драном и линялом подобии взрослой одежды; косички торчали из-под большой дурацкой шляпы, замызганная юбка волочилась по земле, шлепали стоптанные ботинки на кнопках. Она была пигалицей, ростом чуть выше Джо, но за детьми «смотрела» неплохо. В семьях ее круга ребенок начинает «смотреть» за младшими, сам едва научившись ходить. Время от времени Кейти пыталась нас воспитывать, отучая от дурных манер сражающими наповал, как ей казалось, присловьями и поговорками. Стоило тебе буркнуть «наплевать», от нее тотчас следовало:

Надоел всем Наплевать,

Его взяли, повязали,

В горшок кинули, варили,

Пока не сварился!

Если ты ей грубил, она назидательно замечала: «Грубое слово кость не ломит», если хвастался – «Гордись-гордись, да упасть берегись». Справедливость последней поговорки я подтвердил однажды, когда важно маршировал, изображая генерала, и рухнул в тинистый коровий пруд. Семейство Кейти ютилось в жалком крысятнике среди хибар за пивоваренным заводом. Ребятни там кишело как паразитов. Все дети сумели отвертеться от школы (это, надо сказать, в те времена было довольно легко) и с малолетства шустрили, добывали кто что мог. Один брат месяц отсидел за кражу репы. Кейти перестала водить нас на прогулки через год, когда восьмилетний Джо, разнюхав, что у них дети спали по пятеро в одной кровати, начал неотвязно дразнить ее.

Бедная Кейти! Впервые она родила в пятнадцать лет. Никто не знал, кто отец, да и сама она, наверно, сомневалась. Судачили, что, мол, кто-то из братьев. Младенца забрали в приют, а Кейти нанялась прислужой в Уолтон. Некоторое время спустя она вышла замуж за лудильщика, чем опустилась на ступеньку ниже даже родимого семейства. Последний раз я видел ее в 1913-м. Крутя педали, я проезжал через Уолтон вдоль железной дороги, мимо стайки дощатых лачуг за оградой из бочарных клепок (там иногда, когда дозволялось полицией, устраивали стоянку цыгане). Морщинистая оборванка, с чумазым лицом и висящими космами, вышла на порог вытряхнуть циновку. Это была Кейти, которой не исполнилось и двадцати семи.

2

По четвергам бывали базарные дни. С рассвета мордатые обветренные парни в грязных блузах и тяжеленных, заляпанных навозом башмачищах длинными прутьями орешника гнали скотину. Поднимался шум и гам: лаяли собаки, визжали свиньи, ругались и щелкали кнутами, пробиваясь сквозь толкотню, возчики товарных фургонов; орали, тряся палками, все, кто так или сяк суетился возле скота. Особая суматоха возникала, когда вели быка. Даже в том нежном возрасте я сообразил, что большинство быков, животных безобидных и послушных, хотели лишь мирно добраться до стойла, но бык ведь не считался бы быком, если бы половина города не кидалась гнать, загонять его. Иной раз напуганный бык (обычно – молодой телок) со страху разворачивал и пытался сбежать, тогда весь находившийся поблизости народ толпой перегораживал дорогу, бешено махая руками с криком: «У-у! У-у!» – что, как предполагалось, гипнотически умирало быка и действительно приводило в оцепенение.

К середине утра у нас в магазине появлялись фермеры – смотрели, взвешивали на ладонях образцы семян. Без фургона и без возможности давать кредит надолго отцу не удавалось развить дело. Выручка в основном шла от мелких продаж: корм для домашней птицы, конский фураж и тому подобное. Непременно заглаживал старик Брувер с мельничной фермы: обросший седой щетиной гнусный скряга по полчаса перебирал в горсти зерно для кур, с рассеянным видом просыпая его себе в карман, и уходил, не купив, разумеется, ни зернышка. Вечером пабы набивались выпивохами. Все годы Бурской войны, каждый вечер четверга и субботы возле пивной стойки в «Георге» стоял сержант-вербовщик, парадно разодетый и чрезвычайно щедрый. А наутро сержант вел за собой какого-нибудь багрового

от стыда юного деревенского увальня, который вчера по пьяной дурости взял шиллинг, а нынче обнаружил, что откупиться ему будет стоить двадцать фунтов. Наблюдатели этой сцены с порогов своих домов качали головами, словно видели похороны: «Хорош! В солдаты записался! А был ведь славный паренек!» Событие ужасало. Пойти в солдаты среди моих земляков считалось столь же постыдным, как девушке выйти на панель. Отношение к армии, к войне вообще, было довольно любопытное. С одной стороны, люди держались старинных добрых понятий, согласно которым красный мундир – позорище, и всякий его надевший непременно сопьется, прямиком угодит в ад. Но эти же люди были пламенными патриотами, вывешивали из окон «Юнион Джека»[14] и свято верили, что англичан никто еще не побеждал и победить не может. В те годы все, включая даже нонконформистов из самых строгих сект, пели сентиментальные песенки насчет тающей вдали тонкой красной линии и погибающих в чужой земле юных бойцов. Гибель героя обычно случалась, когда «грязнули пушки, ядра засвистали», и эта деталь битвы ставила меня в тупик. Про пушки я понимал, но ядра представлял лишь ореховые, а потому немало озадачивался картиной каких-то свистящих орехов. Известие о взятии Мафекинга[15] вызвало общее буйное ликование, вполне естественное для людей, доверчиво внимавших байкам о бурах, которые, подкинув младенцев в воздух, насаживают их на штыки. Старика Брувера так затравили дети, вопившие ему: «Бур бородатый!» – что он наконец соскоблил свою щетину. Отношение к верховной власти тоже было своеобразное. Как истинный англичанин, любой поклялся бы, что Вики – лучшая королева всех времен, а народ за границей – сплошь шушера, однако никто не подумал бы платить налоги, даже регистрировать собаку, найдя способ как-нибудь это обойти.

Хотя и до и после войны Бинфилд относился к традиционно либеральным избирательным округам, на дополнительном голосовании в войну победу одержали консерваторы. Ничего тут не соображая, я тоже был за консерваторов, поскольку их синие плакаты нравились мне больше красных, а денек тот запомнился мне из-за одного пьяного, ничком рухнувшего возле паба. В общей выборной суете было не до него, и он долго лежал там, в луже алой, постепенно лиловевшей на солнце крови. К выборам 1906-го я уже кое-что уразумел и был истовым либералом, как все вокруг. Народ полмили гнался за кандидатом-консерватором, под конец триумфально сброшенным в пруд. Политику тогда воспринимали всерьез, тухлые яйца начинали припасать за несколько недель до выборов.

Помню скандальный спор, разгоревшийся между отцом и дядей Иезекиилем при вести о начале Бурской войны. У дяди Иезекииля была притулившаяся в стороне от Главной улицы небольшая сапожная лавка (продажа и мелкий ремонт обуви), бизнес скромнейший, к тому же явно хиревший, что, впрочем, не особенно волновало, так как дядя навек остался холостяком. Отцу он доводился сводным братом, был старше его лет на двадцать и на моей памяти выглядел всегда одинаково: красивый, довольно высокий старикан с необычайно белыми, белоснежными, как пушок чертополоха, длинными бакенбардами; с манерой, хлопнув по кожаному фартуку, резко распрямиться (привык, видно, так разминать согнутый позвоночник) и кинуть вам в лицо свое особое мнение, завершая слова кудахчущим смешком. Подлинный либерал XIX века, способный не только поддеть вопросом «Что сказал Гладстон[16] в 1878 году?», но и точно ответить. Один из немногих в Нижнем Бинфилде, кто всю войну стойко держался либеральных взглядов, он вечно обличал Джо Чемберлена и консерваторскую банду, именовавшуюся у него «швалью с Парк-лейн». Так и слышу его трубный голос в споре с отцом: «Их, понимаешь ли, великая империя!

Великовата что-то для меня, кхе-хе-хе!» А затем тихий, встревоженный и, так сказать, добропорядочный голос отца, напоминающего о бремени белого человека, о нашем долге помочь бедным чернокожим, которых зверски третируют эти бурские свиньи. После того как дядя Иезекииль обнаружил себя сторонником буров и ярим противником империи, они с отцом почти неделю не общались. Следующий бурный разговор произошел в связи со слухами о диких вражеских злодеяниях. Отца эти рассказы страшно разволновали, он попытался снова воззвать к дяде. Мол, хороша империя или не хороша, но можно ль допустить, чтобы буры подкидывали и насаживали на штыки младенцев, хотя бы и негритят? В ответ дядя Иезекииль только расхохотался – чушь! Малюток истязают не буры, а британские солдаты! Для наглядности дядя схватил меня, стоящего рядом, вскричав: «Да-да! Швыряют – и на вертел, как лягушек!» Подкинутый, взлетевший в воздух, я очень живо представил себе, как сейчас плюхнусь на острый штык.

Отец ничем не походил на дядю Иезекииля. Отцовских родителей я не знал, оба умерли до моего рождения, мне было известно лишь то, что дед сапожничал, а затем, уже в солидном возрасте, женился на вдове торговца семенами, чей магазин теперь принадлежит нам. Торговля не отвечала натуре отца, хотя само дело он изучил досконально и трудился не покладая рук. Кроме праздничных дней и каких-то отдельных вечеров он всегда видится мне с забившей морщинки, припорошившей остатки его волос белой мучнистой пылью. На брачную жизнь отец решился, когда ему уже перевалило за тридцать, так что даже в самых ранних моих воспоминаниях он предстает по меньшей мере сорокалетним. Маленький, скромный, неприметный, всегда без пиджака и в белом фартуке, голова круглая, короткий нос, довольно густые усы и светлые волосы того же рыжеватого оттенка, что у меня, только на голове отца их оставалось совсем немного и они вечно были тусклыми из-за мучнистого налета. Поскольку дед, женившись на вдове владельца магазина, возвысился, отца отправили в уолтонскую грамматическую школу[17] учиться вместе с сыновьями других местных торговцев или богатых фермеров. Громадный скачок вверх, если учесть, что его старший сводный брат, дядя Иезекииль, любил гордо рассказывать, как он, никогда не ходивший в школу, самостоятельно учился читать вечерами после работы, при свете сального огарка. Зато мозги у дяди были побойчей – он мог сразиться в споре с кем угодно, причем заваливал цитатами из Карлейля и Спенсера. А вот отец был тугодумом, «книжность» (его словечко) не освоил, да и с грамматикой не совсем разобрался. В воскресенье после полудня – единственное время, когда он позволял себе отвлечься от забот, – отец садился у камина «глянуть газетку». Его любимым еженедельником был «Народ», а у матери – «Всемирные новости», где больше рассказывалось об убийствах. Летний воскресный день (лето! конечно, всегда лето!), еще не выветрился запах тушеной с зеленью свинины, по одну сторону камина мать, начавшая читать про самое последнее жуткое преступление, но незаметно уснувшая с приоткрытым ртом, по другую – отец в очках и шлепанцах, медленно продирающийся сквозь дебри скверно отпечатанного текста. В воздухе летнее блаженство, на окне герань, с улицы щебет скворца, сам я под столом с детским приключенческим журнальчиком, и скатерть вокруг меня свисает как полотно охотничьей палатки. К вечеру, закусывая редиской с зеленым лучком, отец раздумчиво перескажет прочитанное о пожарах, скандалах в высшем свете, новейших летательных машинах, о матросе (этим матросом, я заметил, газетчики многие годы угощают регулярно), который был проглочен китом, но трое суток спустя извлечен живым, хотя и сильно выбеленным в струях китового желудочного сока. Сомневаясь насчет истории с матросом,

а также насчет летательных машин, всем прочим сообщениям газет отец доверял абсолютно. Кстати, до 1909 года никто в Нижнем Бинфилде не верил, что люди сумеют летать. Общее твердое мнение гласило: пожелай Господь, чтоб мы летали, сотворил бы нам крылья. И напрасно скептический дядя Иезекииль указывал, что захотелось же Богу, чтоб люди ехали, и дал колеса. Но, между прочим, в летательные машины не верил даже дядя.

Лишь по воскресеньям после церкви и, может, еще разок в неделю вечером отец заглядывал в «Георг» глотнуть полпинты. Ему было не до пива – с утра до ночи заботы о своем торговом предприятии. Честно сказать, дел было не особо много, однако он постоянно хлопотал: то возился в сарае, где хранились мешки с товаром, то, сидя в пыльном магазинном закутке, усердно вел подсчеты огрызком карандаша. Человек он был очень честный, очень совестливый, все время волновался, как бы кого не подвести, не обмануть, – даже в те времена не лучший способ преуспеть в бизнесе. Ему бы служить на какой-то мелкой официальной должности: почтмейстером или при станции. Ни рискнуть и занять денег для расширения дела, ни придумать нечто новенькое в форме продаж он не умел. Примечательно, что единственная искра его коммерческой фантазии – оригинальная кормовая смесь для певчих птиц (ставшая довольно популярной в городке и окрестностях «Смесь Боулинга») – на самом деле являлась идеей дяди Иезекииля. Дядя был любителем птиц, держал уйму щеглов в своей полутемной лавке, и это он измыслил теорию, по которой пичуги в клетках теряют цвет из-за однообразной пищи. Отец, разведя на заднем двореке, на грядках под провололочной сеткой десятка два различных сорняков, стал сушить травы и смешивать их семена с обычным канареечным семенем. Что ж, красовавшийся у нас в витрине рекламой «Смеси Боулинга» снегирь Джекки, в отличие от прочих отловленных собратьев, действительно нисколько не тускнел.

Мать, сколько я помню, всегда отличалась полнотой. Это, конечно, от нее мне достался избыток кислотности или чего-то там, что нагоняет жир.

Крупная, повыше отца и с волосами гораздо красивее отцовских, она еще отличалась пристрастием к черным платьям. Хотя, кроме воскресений, ее не припомнить без передника. И всегда, ну практически всегда, она мне видится за стряпней. Вспомнив человека из своего давнего прошлого, представляешь его в каком-то особо свойственном ему месте, в особо характерном его состоянии, словно другим он вовсе не бывал. И как отец для меня обязательно сидит в закутке, припорошенный мучнистой пылью, и, сгорбившись, мусолит карандаш, а дядя Иезекииль, с его белоснежными бакенбардами, хлопнув себя по кожаному фартуку, резко распрямляет спину, так мать, когда я думаю о ней, вечно стоит у кухонного стола – месит, разделявает большущий ком теста.

Известно, какие раньше были кухни у людей: громадные, полутемные, с балкой поперек низкого потолка, с каменным полом и люком в подвал. Все тогда было громадным, или это мне, малышке, так казалось. Массивный каменный слив, где вместо крана железный насос, посудный шкаф во всю стену, гигантская плита, подолгу не желавшая раскочегариться, топлива пожиравшая полтонны в месяц. Мать у стола раскатывает очередной пласт теста; я ползаю вокруг, развлекаюсь поленьями, углем, охотой на таракашек (их было полно по всем темным углам, морили их, выманивая пивом) и поминутно лезу к столу, клянчу чего-нибудь пожевать. Мать не терпела этого: «куски хватать между едой» – и отгоняла меня: «Брысь! Не дам аппетит портить. Ты жадным глазом, а не животом есть хочешь». Но изредка мне все-таки перепадали кусочки обсахаренной корки.

Я очень любил наблюдать, как мать печет. Большое удовольствие смотреть на чью-то мастерскую работу. Вот поглядите-ка на женщину, знающую толк в готовке, – а для меня это та, что отменно с тестом управляется. Вид у нее важный и отрешенный, как у священника, ведущего обряд. Да она так себя и ощущает. Мощные, розовые, в густой мучной пудре материны руки действовали на изумление ловко. Яйцо выплескивалось из скорлупы, скалка каталась, начинка ложилась в точности как и куда надо. На кухне мать была, как говорится, в собственном мире, понимала там все до последней мелочи. Но мир за этими пределами, известный ей лишь по воскресным газетам или обрывкам слухов, для нее вроде как и не существовал. Хотя она читала лучше отца и не в пример ему, кроме газет, почитывала даже разные романтические повести, я уже лет с десяти стал удивляться ее невежеству. Она, конечно, не могла ответить, к востоку или западу от Англии находится Ирландия, и вряд ли до Бурской войны сумела бы назвать имя тогдашнего премьер-министра. И ни капельки не стремилась это знать. Читая о восточных странах, где чернокожие евнухи сторожат султанские гаремы, я подростком часто представлял себе, как поразились бы мать, узнав про такие диковинные вещи, как возмутилась бы: «Ну и ну! Жен своих навеки запереть! Додумались!» Не то чтобы она совсем не понимала, кто такой евнух. Просто жизнь ее целиком кружилась в домашних стенах, причем, так сказать, на женской половине. Даже в нашем доме были места, куда она ногой не ступала. Никогда она не заходила в сарай с товаром, крайне редко бывала в магазине, и не припомню, чтобы мать когда-нибудь обслуживала покупателей. Она бы и не знала, где что взять; в зерне, еще не смолотом в крупу, она, наверно, и пшеницу от овса не отличила бы. Зачем? Торговля – отцовское дело, «мужская работа». А «женская» – заботиться о чистоте, еде, стирке и детях. Она бы в обморок упала при виде отца или другого мужчины, вдруг вздумавшего самолично пришить пуговицу.

Еда и все такое прочее у нас шло как часы. Нет, не как часовая железная механика, а каким-то естественным, природным ходом. Ты знал, что утром взойдет солнце, и точно так же – что на столе будет завтрак. Всю свою жизнь мать спать ложилась в девять, а поднималась в пять. Лечь или встать позднее – тут ей чудилось что-то дурное: барское, заграничное, порочное. Хотя она наняла Кейти Симонс водить нас с братом на прогулки, ее никто бы не уговорил взять себе помощницу по хозяйству. Нанятые, по ее глубокому убеждению, всегда оставляют грязь под шкафами. Еда у нас подавалась минута в минуту. До и после обильной трапезы обязательно молитва, и было за что благодарить – вареная говядина с клецками, ростбиф с йоркширским пирогом, баранина с каперсами, тушеная свиная голова, яблочный омлет, пудинг с коринкой, пудинг с джемом. Еще держались старинных правил воспитания. Во всяком случае, касательно детей, которым полагалось спуску не давать. И уж конечно, тебя выгоняли из-за стола, если ты слишком громко чавкал, или давился от жадности, или, наоборот, не желал есть нечто «полезное», или же «огрызался». Вообще-то у нас в семье суровых мер не применяли. Мать, правда, была чуть построже, но отец, вечно грозивший «взять прут да выпороть», был совершенно бессилен укротить нас, особенно Джо, сорванца и отпетого упрянца. Отец всегда лишь собирался «хорошенько вздуть» Джо, но дальше рассказов (вряд ли, мне теперь кажется, правдивых) о жутких порках, которые ему устраивал его отец, дело не заходило. А Джо к двенадцати годам стал таким силачом, что матери его уже было не отшлепать, и все попытки справиться с ним прекратились.

В те времена родителям надлежало день-деньской внушать детям, что тем «не позволено». Нередко слышались заявления того или иного папаши, обещавшего «дух вышибить» из

сынка, коли поймает его на курении, краже яблок либо разорении птичьих гнезд. Иной раз подобные казни совершались. Шорник Лавгроу, застигнув однажды своих пареньков, пятнадцати и шестнадцати лет, куривших под навесом, так отдубасил их, что вопли неслись на весь город. Сам шорник, кстати, был из заядлых курильщиков. Никаких результатов наказания не давали – мальчишки по-прежнему крали яблоки, разоряли птичьи гнезда и непременно учились курить, но правила, что с детьми надо строго, это не отменяло. Фактически любое стоящее занятие было под запретом. Послушать мать, так кроме «нельзя» абсолютно все, что нам еще хотелось делать, было «нет-нет, опасно!». Плавать опасно, опасно лазить на деревья, с гор кататься, играть в снежки, кататься, виснув на задках телег, стрелять из рогаток, даже рыбу удить опасно. Опасны также все животные за исключением пса Удальца, двух наших кошек и снегиря Джекки. Причем у каждой твари есть свой способ тебя покалечить: конь укусит, летучая мышь вцепится в волосы, ухвертка залезет в ухо, лебедь крылом ударит и сломает ногу, бык затопчет, змея ужалит. Все змеи, по уверению матери, «жалили», а когда я, показав школьную энциклопедию, объяснил, что у змей зубы, но жала вовсе нет, мне было велено не огрызаться. Ящерицы, веретеницы, жабы, лягушки и тритоны тоже жалят. Жалят также все насекомые, кроме блох и тараканов. Всякая еда, кроме той, что подавалась у нас на стол, отравна или «вредно». Сырой картофель – яд смертельный, как и грибы (если только они не из овощной лавки). От сырого крыжовника колики, от малины – сыпь. Примешь теплую ванну после ужина – умрешь от судорог; порежешься между указательным и большим пальцами – будет столбняк; вымоешь руки водой, где варились яйца, – пойдут бородавки. Почти сплошь ядовиты товары в нашем магазине (потому мать и перегородила калиткой ход туда). И жмыхом, и зерном для кур, и горчичным семенем сразу отравишься. Конфеты очень вредны, столь же вредно угощаться чем-либо не за столом. Хотя для одной сласти регулярно делалось исключение. Когда мать варила сливовый джем, нам разрешалось есть накипавшие сверху густые пенки, и мы с Джо обжирались ими до тошноты. При том, что почти все на свете было опасно или ядовито, имелись кой-какие вещи со свойствами прямо волшебными. Так, сырой лук излечивал практически все хвори. Шерстяной чулок вокруг горла спасал от ангины. Серная добавка укрепляла собачий организм, и в поставленной Удальцу возле задней двери миске для воды годами на дне лежал, не растворяясь, комок этой целебной серы.

Чай мы пили в шесть. К четырем мать заканчивала дневные хлопоты, так что до шести могла передохнуть, выпить чашечку чаю и, как она говорила, «спокойно почитать свою газетку». Хотя по будням газеты ее не очень интересовали. В будни печаталась хроника новостей, а громкие убийства случались редко. Другое дело – воскресные выпуски, редакторы которых сообразили, что читателю не особо важно, сегодняшняя это жуть или столетней давности, и потому, не получив свежего криминала, вытаскивали стародавний кошмар вплоть до доктора Палмера или миссис Мэннинг[18]. Думаю, жизнь за пределами Нижнего Бинфилда представлялась матери состоящей главным образом из преступлений. Ужасные убийства зачаровывали мать, ошеломленно повторявшую, что «не придумать даже, до каких грехов люди доходят». Супруге горло перерезать, или отца родного под полом замуровать, или ребеночка в колодце утопить! Как только человек может творить такое! Паника в связи с Джеком-потрошителем полыхнула примерно тогда, когда родители поженились, и с тех пор нашу магазинную витрину на ночь всегда задвигали тяжеленными ставнями. Эти огромные деревянные ставни уже в ту пору исчезали, у большинства лавок на Главной улице их уже

не было, но мать лишь так могла ощутить себя в безопасности. Ее до конца жизни не покидало подозрение, что Джек-потрошитель прячется в Нижнем Бинфилде. Дело Криппена – это было годы спустя, когда я почти вырос, – тоже буквально потрясло ее. «Искромсать бедняжку жену да в угольном подвале схоронить! Додумался! Ух, попадись он мне!» И, можете себе представить, при мысли о злодействе скромного американского врача, расчленившего тело жены (причем с необычайной аккуратностью вырезавшего все кости, а голову, помнится, утопившего в море), глаза матери наливались слезами.

По будням, однако, главным материнским чтением был «Друг и помощник Хильды», без которого не обходилась ни одна семья вроде нашей, который фактически продолжает жить в изданиях сегодняшних, еще более незатейливых женских газетенок. Полистал я тут на днях одну такую: кое-что иначе, а в основном по-старому. Те же бесконечные, растянутые на полгода истории с продолжением (и непременно со свадебным букетом под конец), те же «полезные советы», те же призывы срочно купить швейную машинку или спасительную мазь от ревматизма. Изменились только шрифт и картинки. Раньше красавице полагалось выглядеть на манер рюмки для яиц, а теперь наподобие пробирки. Откровения своего трехпенсового «Друга и помощника» мать читала медленно, уважительно. Сидя в стареньком желтом кресле (ноги на железной решетке, в очаге преет котелок с крепкой заваркой), внимательно читала в том порядке, как печаталось: очередной кусок сериала, пару рассказиков, полезные советы, рекламу пилюль и ответы читателям. Содержимого одного номера ей хватало на всю неделю, а то и больше. Случалось, от тепла и монотонного гудения мух мать погружалась в дрему и, очнувшись без четверти шесть, тревожно вскидывала взгляд на стрелки каминных часов: боялась опоздать с чаем. Но чай у нас никогда не запаздывал.

В те годы (если точно – до 1909-го) отец еще мог позволить себе держать мальчика на побегушках и, наказав тому присматривать за магазином, выходил к чаю; на тыльной стороне его ладоней оставался пыльный, белесый налет мякинной трухи. Резавшая хлеб мать, на секунду прервавшись, кивала: «Скажи-ка молитву, отец». И отец, пока мы ждали, склонив головы на грудь, почтительно бормотал: «Возблагодарим Господа за милость – за все дары Его – аминь». Когда брат стал постарше, мать иногда предлагала: «Скажи-ка нынче ты молитву, Джо», – и брат бодро пищал что подобает. Самой матери возносить это благодарение не полагалось: здесь требовалась личность мужского пола.

Тогдашний летний полдень не представить без гудящих навозных мух. Санитарией Нижний Бинфилд не блистал. Городок насчитывал сотен пять домов, среди которых было меньше десятка изысканных жилищ с ванными и лишь полсотни с тем, что можно обозначить как ватерклозеты. Летом наш задний двор всегда пованивал помойкой. И всюду, в любом жилье насекомые. У нас за деревянной обшивкой стен имелись тараканы, за кухонной печью – сверчки и, разумеется, мучные черви в магазинных ларях. Надо сказать, даже самые домовитые хозяйки вроде моей матери не видели тогда в тараканах ничего страшного. Тараканы являлись такой же принадлежностью кухни, как буфет или скалка. Но были другие – позорные – насекомые. В хибарах за пивоваренным заводом, там, где жила Кейти Симонс, кишели клопы. Вот заведись они в доме, так мать или иная жена владельца магазина сгорела б от стыда; считалось неприличным даже знать, как эти клопы выглядят.

Жирных синих мух, налетающих в кладовку и облепляющих сетку над мясом, гоняли: «Сгиньте вы!», однако же и мухи были божьими тварями, и кроме как защитной сеткой да

липкой бумагой с ними не сражались. Я вот сказал вначале, что первое в моей памяти – запах семян и мякины, но запах мусорных ящиков во дворе тоже из ранних моих лет и тоже навеки мил. Вспоминая материнскую кухню с каменным полом, ловушками для тараканов, железной каминной решеткой и прокопченной печью, я всегда, кажется, слышу жужжание навозных мух, чувствую, как слегка пованивает от помойного ведра, шибает в нос чудесным густым запахом псины от симпатяги Удальца. Ей-богу, есть звуки и запахи похуже. Вам, например, какое гудение больше по душе: навозных мух или бомбардировщиков?

3

Джо пошел учиться в уолтонскую грамматическую школу на два года раньше меня. Обоих нас не решались отправить в Уолтон до девятилетнего возраста, так как учеба там означала четыре мили на велосипеде утром туда и вечером обратно, а мать очень боялась дорожного движения, хотя автомобили еще были редкостью.

До этого мы с братом несколько лет посещали частные начальные классы миссис Хаулет. Всякий знал, что мамаша Хаулет старая самозванка и учитель хуже, чем никакой, но большинство малышей из семей владельцев магазинов все-таки обучались у нее, не опускаясь до постыдной общедоступной школы. Нашей наставнице, глухой и едва видящей сквозь очки, было далеко за семьдесят; все ее школьное оборудование состояло из указки, стопки затрепанных учебников письма и пары дюжин резко пахнущих грифельных досок. С ученицами она еще кое-как справлялась, но мальчики над ней просто смеялись и прогуливали сколько хотелось. Помню, однажды на уроке разразился жуткий скандал – мальчишка сунул руку девчонке под юбку (смысл деяния я тогда еще не улавливал). Мамаше Хаулет удалось скрыть этот ужас от родителей. Обычной ее воспитательной угрозой звучало «скажу твоему отцу», но мы заметили, что часто жаловаться на учеников она не смеет, а если замахивается указкой, то от ударов нескладной старухи легко увернуться.

Джо было всего восемь, когда он примкнул к мальчишеской шайке под названием «Черная рука». Верховодил там тринадцатилетний сын шорника Сид Лавгроу, входили в шайку еще два сына городских торговцев, юный посыльный с пивоваренного завода и двое ребят с фермы, исхитрившихся среди крестьянских трудов выкроить час-другой на разбойничьи приключения. Этих сельских ребят, рослых, мосластых, в драных вельветовых штанах, несмотря на их низменно-простецкий вид и говор, приняли в компанию за несравненные познания и таланты касательно всякой живности. Один из них, рыжий, по прозвищу Имбирь, мог даже голыми руками поймать дикого кролика: высмотрев затаившегося в траве зверька, кидался и, упав плашмя, накрывал своим телом. Социальную пропасть между сыновьями магазинщиков и сыновьями фермерских рабочих местные подростки начинали отчетливо сознавать лишь годам к шестнадцати. У членов шайки имелся тайный пароль, имелась также процедура «испытания», где требовалось разрезать себе палец и съесть земляного червя, а главным было демонстрировать себя отчаянными головорезами. Досадить они, конечно, умели: били стекла, гоняли пасшихся коров, отрывали дверные молотки, сады грабили, унося фрукты мешками. Зимой, когда удавалось позаимствовать

пару хорьков (и если позволяли фермеры), они охотились на крыс. У всех них были на вооружении рогатки и колотушки, и каждый копил на стоивший тогда пять шиллингов пистолет для стрельбы в тире, только больше трех пенсов никак не накапливалось. Летом шайка ходила удить рыбу или выискивать птичьи гнезда. Прогуливавший уроки мамы Хаулет, по крайней мере, раз в неделю, Джо умудрялся также, хоть и реже, прогуливать уолтонскую школу. Нашелся соученик, умевший подделывать любой почерк и за пенни изготавливавший записку от матери, где подтверждалось твое вчерашнее недомогание. Конечно же, я дико рвался разбойничать с «Черной рукой», но Джо сурово отвергал мои поползновения: не нужна, мол, им на шее сопливая малышня.

А меня обуяла мечта о рыбалке. Ведь до восьми лет жалкий мой рыбацкий опыт сводился лишь к возне с сачком, куда изредка попадалась микроскопическая корюшка. Мать, естественно, ужасало всякое наше приближение к воде, рыбалка в ряду обычных родительских запретов была «нельзя», а сам я еще не сообразил, что глаза взрослых не всевидящее око, но как страстно мечталось порыбачить! Сколько времени я провел у мельничного пруда, наблюдая серебрившихся на воде под солнцем карасиков, а иногда замечая в полутьме под ветвями ивы большого – мне казалось, громадного (сейчас думаю, дюймов шесть) – карася, который вдруг, всплыв и на миг сверкнув алмазной гроздью, жадно хапал личинку и вновь исчезал. Часами я простаивал перед витриной лавки Уоллеса на Главной улице, где торговали рыболовной снастью, ружьями и велосипедами. Проснувшись летним утром, я лежал, представляя все известное мне из рассказов Джо: как делаешь приманку из хлебного теста, как закидываешь удочку с пляшущим поплавком и тонущим грузилом, как гнется в руках удище с клюнувшей, натянувшей леску рыбой... Почему для ребенка все это излучает волшебное сияние? Не обязательно рыбалка, для иных детей это охота и стрельба или же мотоциклы, самолеты, лошади. Ничего тут не объяснишь – чистая магия. Однажды утром (было это в июне, а мне, должно быть, было восемь), зная, что Джо намерен прогулять и удить рыбу, я твердо решил пойти вслед за ним. Каким-то образом почуяв мои планы, брат, пока мы одевались, предупредил:

– Ты вот что, карапуз, не вздумай за нами увязаться! Сиди дома!

– Я и не думаю. Не собирался даже.

– Собирался!

– А вот и нет!

– А вот и да!

– Нет!

– Да! Но будешь сидеть дома, ясно? Нужна нам в шайке драная малышня!

Недавно освоив ругательное «драный», Джо всю щеголял словом. Отец услышал и пообещал «вышибить дух» из брата, но до дела, конечно, не дошло. А после завтрака, когда Джо, с ранцем, в форменной школьной фуражке, оседлав свой велосипед, умчался на пять минут раньше обычного (что всегда означало – сегодня прогул), когда мне тоже надо было отправляться в классы мамы Хаулет, я, выскользнув, нырнул в проулок позади дворов. Шайка соберется у мельничного пруда, пойду туда и я, пускай хоть убивают. Мальчишки наверняка поколотят, потом придется к обеду прийти домой, мать поймет, что я прогулял,

и от нее тоже достанется – плевать. Одно неукротимое желание – рыбачить с шайкой. И действовал я хитро. Терпеливо выждал, чтобы Джо успел в объезд прикатить на место, а затем по тропинке и краем поля за кустами живой изгороди незаметно подобрался почти к самому пруду. Стояло чудесное июньское утро. Ноги по колено утопали в гуще лютиков. Ветерок слабо шевелил верхушки вязов, пышная пена листвы светилась нежным, нарядным шелком. Девять часов утра, мне восемь лет, вокруг все прелести начала лета, с чащобой живой изгороди, где еще в цвету кусты диких роз, с медленно плывущими над головой пушистыми белыми облачками, с пологой волной холмов вдаль и туманно синеющим лесом Верхнего Бинфилда. И ни черта этого я не замечал. В голове только тинистый зеленый пруд, члены шайки, их крючки, лески, хлебное тесто приманки. Словно там рай и мне во что бы то ни стало надо туда. Наконец я подкрался совсем близко. Ребят было четверо: Джо, Сид Лавгроу, мальчишка-посыльный и еще один сын лавочника, звали его, помнится, Гарри Барнс.

Джо, повернувшись, увидал меня.

– Черт! Шкет явился! – прошипел он. И направился ко мне, как разъяренный кот. – Ты что? Давай-ка живо дуй отсюда!

Оба мы, разозлясь, готовы были лечь костью, настаивая на своем. Я отскочил подальше и заявил:

– Нипочем не уйду!

– Уйдешь, я сказал!

– Уши ему надери, Джо, – посоветовал Сид. – Сосунков нам не хватало.

– Так ты уйдешь? – с угрозой спросил Джо.

– Не уйду.

– Ладно, парень, ла-а-адно!

Он кинулся, погнался за мной, награждая тумак за тумак. Но я не убегал, кружил по берегу. В конце концов Джо меня отловил, повалил и, став коленями на мои руки, начал крутить мне уши – его излюбленная пытка. Я, беспомощный, заревел, но и в слезах уйти домой не соглашался. Нет, я хотел остаться, удить рыбу с ними. Внезапно остальные члены шайки смиростивились: сказали Джо, чтоб отпустил меня, а мне, если уж очень хочется, позволили не уходить. Так что я все-таки остался.

У ребят были крючки, лески, поплавки, немалый запас хлебного теста в тряпичном узелке; все мы нарезали себе удилиц из прутьев ивы. Еще надо было постоянно поглядывать на стоявшую в двух сотнях ярдов от нас мельницу, поскольку старик Брувер запрещал тут рыбачить. Не то чтобы это ему мешало (пруд он использовал лишь для купания скота), просто он ненавидел мальчишек. Сохраняя подозрительность к новичку, члены шайки то и дело шикали на меня, требуя не маячить на свету, напоминая, что я сосунок и ничего не смыслю в рыбной ловле. Ворчали, что я своим шумом всю рыбу распугал, хотя я вел себя гораздо тише любого из них. В довершение всего меня отослали сидеть отдельно, вдалеке от остальных, у мелководья и почти без тени. Малышня вроде меня, говорили они, наверняка воду взбаламутит, рыбу от берега отгонит. Место, куда меня отправили, было

совсем негодное, и там рассчитывать на клев не приходилось. Я это знал; каким-то уж инстинктом знал, где есть рыба, где нет. Но наконец-то я рыбачил! Сидел на травянистой отмели, в руках удочка, вокруг жужжание мошкары и сильный, прямо-таки с ног сшибающий аромат дикой мяты; сидел, вперившись в алый поплавок на зеленой воде, и, хоть чумазое лицо в потеках слез, был счастлив как безумный.

Бог знает сколько мы так просидели. Тянулось утро, солнце поднималось выше и выше, ни у кого не клевало. Денек был жаркий, слишком солнечный для клева. Поплавки лежали неподвижно. Сквозь воду можно было смотреть как сквозь темное зеленое стекло. На середине пруда виднелись рыбешки, всплывшие почти к самой поверхности воды погреться, иногда в траве подле берега скользил тритон, поднимался и замирал, опершись лапками на травину, высунув из воды лишь кончик носа. Но рыба не клевала. Взволнованные крики ребят каждый раз оказывались ложной тревогой. Время шло, стало совсем жарко, мухи и комары ели поедом, заросли мяты сладко пахли леденцами из лавки мамы Уилер. Мне делалось все голоднее, тем более что я не знал, долго ли еще до обеда. Однако я сидел тихо как мышь, не отрывая глаз от поплавка. Мне выдали комок хлебного теста, объяснив, как насаживать, но я подолгу не смел заменить приманку, поскольку, стоило мне вытянуть леску, все на меня накидывались за кошмарный шум, якобы распугавший рыбу на пять миль вокруг.

Сидели мы уже, должно быть, часа два, когда вдруг мой поплавок дрогнул. Я понял – рыба. Рыба, которая, случайно проплывая, соблазнилась моей наживкой. Движение поплавка, когда клюет, нисколько не похоже на то, если сам ненароком дернешь леску, – тут не ошибешься. Крючок мой резко потянуло в глубину, я больше не мог выдержать и закричал:

– У меня клюнуло!

– Фигня! – откликнулся-отмахнулся Сид Лавгроу.

Но уже и сомнений не осталось: поплавок нырнул вниз, и я, продолжая видеть под водой его тусклое красноватое пятно, почувствовал, как напряглось в руках удище. Господи, что за чувство! Леску твою натягивает, дергает, а на другом ее конце рыба! Ребята, увидав мой изогнувшийся прут, побросали удочки и понеслись ко мне. Я вытянул свой потрясающий трофей, и рыба – огромная, серебристая! – дугой пролетела по воздуху. И тут же хоровой вопль ужаса. Сорвавшись с крючка, рыба плюхнулась в торчащие из воды кустики дикой мяты. Там было, однако, так мелко, что ей не удалось перевернуться, и секунду она просто лежала плашмя. Джо, окатив нас брызгами, бросился в воду и схватил ее.

– Ессь! – прокричал он, швырнул рыбину на берег, и мы, став на колени, сгрудились вокруг добычи. Как мы, злодеи, ликовали! Бедняга карась бился в агонии, и чешуя его сверкала всеми цветами радуги. Большой карась – длиной не меньше семи дюймов, весом в добрую четверть фунта. Как восхищенно мы орали, глядя на него! Но в следующий миг на нас упала чья-то тень. Мы подняли глаза – над нами стоял старик Брувер в своей высокой твердой шляпе (тогда все носили такие: нечто среднее между цилиндром и котелком), в грубых кожаных гетрах, с толстой ореховой палкой в руке.

Мы сжались, будто птенцы куропатки под тенью ястреба. Он переводил взгляд с одного на другого. Челюсти его, с беззубым стариковским ртом и выступом бритого подбородка, напоминали щипцы для орехов.

– Чем это вы здесь занимаетесь?

Занятие наше было вполне очевидно. Мы молчали.

– Я покажу вам – удить на моем пруду! – взревел старик и кинулся на нас, размахивая палкой.

«Черная рука», дрогнув, обратилась в бегство. И все удочки, и мой трофей были брошены. Брувер за нами гнался до середины луга. На старых негнущихся ногах очень быстро бежать он не мог, но успел все же хорошенько наподдать, пока мы не умчались от него. Остановившись среди поля, старик орал нам вслед, что всех знает по именам и сообщит родителям. Поскольку улепетывал я в хвосте шайки, то большинство ударов досталось мне. Когда мы переводили дух уже по ту сторону живой изгороди, на голених моих обнаружилось немало гнусных багровых полос.

Остаток дня я провел с шайкой. Разбойники еще не решили, принять ли меня постоянным членом, но временно я был допущен. Юнцу посыльному, под каким-то предлогом отпросившемуся на утро, пришлось вернуться к службе при пивоваренном заводе. Остальные отправились бесконечно ходить-бродить, как это обычно бывает у мальчишек, ушедших из дому на целый день, к тому же – без разрешения. Мой первый настоящий мальчишеский поход весьма отличался от детских прогулок с Кейти Симонс. Пообедали мы на краю города, в сухой канаве, заросшей диким фенхелем и полной ржавых жестянок. Со мной поделились частью взятых с собою завтраков, а Сид Лавгроу дал кому-то пенни – сбегать купить для всех бутылку «Великана». Было ужасно жарко, стоял сильный пряный запах фенхеля, и лимонадный газ наградил нас отрыжкой. Потом мы побрели белесой от пыли дорогой в Верхний Бинфилд. Тогда, по-моему, я первый раз туда попал, впервые увидел буковый лес с его ковром опавших листьев, с этими гладкими стволами, которые так высоко уходят в небо, что птицы на верхушках видятся россыпью точек. В те дни, если хотелось, ты по лесу мог ходить где угодно. Фазанов вокруг заколоченной «Усадьбы» больше никто не охранял, самое страшное – встретится возчик с телегой бревен. Нашелся спиленный ствол, древесные кольца торца были похожи на мишень, в которую мы начали пулять камнями. Другие из рогаток стреляли в птиц, причем Сид Лавгроу поклялся, что сшиб зяблика, только тот застрял в ветках наверху, а Джо сказал, что Сид врет, и они заспорили, почти что подрались. Потом мы спустились на дно известняковой ложбины, устланной толстым слоем сухих листьев, и орали, чтобы послушать эхо. Кто-то выкрикнул непристойность, после чего пошли в ход все известные шайке похабные слова, и надо мной глумились, так как в моем словаре их набралось лишь три. Сид Лавгроу нам объявил, что знает, как родятся дети, – так же как кролики, только ребенок вылезает из женского пупка. Гарри Барнс принялся корябать на буковом стволе словечко... но после первых двух букв занятие резьбой ему наскучило. Потом направились к усадебной сторожке. Ходил слух, что где-то на территории «Усадьбы» есть пруд с невероятно крупной рыбой, но никто не отважился когда-либо проникнуть внутрь, потому что обитавший в сторожке старый Ходжес, который, так сказать, присматривал за домом, был крут с мальчишками. Ходжес копался в своем огороде у сторожки. Мы покричали ему разных дерзостей из-за забора, пока сердитый старик нас не отогнал, а затем вновь пошли к уолтонской дороге, чтобы дразнить проезжающих возчиков, стоя за живой изгородью, куда кнутом с телеги не достать. Близ уолтонской дороги был старый карьер, превращенный потом в свалку, густо заросшую кустами ежевики. Присыпанные землей с цветущими буйными сорняками, там

громоздились горы мятых оловянных канистр, дырявых кастрюль, погнутых велосипедных рам, битых бутылок. И мы час рылись в этой дряни, изгваздавшись с головы до пят, вытаскивая ржавые столбики оград, поскольку Гарри Барнс поклялся, что кузнец в Нижнем Бинфилде дает шесть пенсов за сто фунтов старого железа. Потом Джо отыскал в ежевичных кустах брошенное гнездо дрозда с едва оперившимися птенцами. После долгого спора, что с ними делать, мы их вынули, стали кидаться в них камнями и, наконец, пришибли. Птенцов было четыре, так что каждый из нас припечатал своего. Тем временем близилось время ужина. Понятно было, что старый Брувер угрозу свою выполнит и впереди ждет порка, но голод уже слишком донимал. В общем, поплелись мы домой, учинив по пути еще одно бесчинство: заметили крысу и, схватив палки, кинулись за ней, а за нами погнался старый Беннет (начальник железнодорожной станции, который даже по ночам холил свой огород и страшно им гордился), в бешеной ярости оттого, что мы грядку с луком ему растоптали.